

Михаил Аникин

«РУССКИЙ РОМАНЪ»
PAVOGYTAS ROMANAS

**(или повесть о новом Дон Кихоте,
утраченной и вновь обретённой рукописи
«Тихого Дона», Леонардо да Винчи,
коварстве Дэна Брауна, «рюриковичах»
и «евразийцах» и многом, многом другом)**

Издательский дом НППЛ «Родные просторы»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2015

ББК 000
А 00

Аникин М.

А 00 «Русский романъ». Ravogytas romanus (или повесть о новом Дон Кихоте, утраченной и вновь обретенной рукописи «Тихого Дона», Леонардо да Винчи, коварстве Дэна Брауна, «рюриковичах» и «евразийцах» и многом, многом другом). Роман.— СПб., 2015.— 224 с.

ISBN

Аннотация

ББК

*Издание осуществлено за счет средств творческого объединения
«Петербургская десятина (Православный Эрмитаж)»*

ISBN

© Аникин М.А., 2015
© Издательский дом НППЛ
«Родные просторы», 2015

«РУССКИЙ РОМАНЪ»

**(или повесть о новом Дон Кихоте,
утраченной и вновь обретённой рукописи
«Тихого Дона», Леонардо да Винчи,
коварстве Дэна Брауна, «рюриковичах»
и «евразийцах» и многом, многом другом)**

Не бывает хорошей власти —
власть бывает такой, какой
ей позволяют быть люди.

Из разговора на Невском проспекте

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот роман был закончен мной в 2005 году. В 2006 году он был переведён и напечатан в Литве на литовском языке. Я предлагал его в разные издательства России, но ответа не получал, а точнее получал вежливые отписки. Одно православное издательство уже почти заключило со мной договор, но потом чего-то испугалось. Это навело меня на мысль, что мы незаметно снова скатываемся к тому рабскому состоянию, в которое нас загоняли все годы советской власти. Недавно я шёл по Невскому проспекту в компании приятных друзей и знакомых и неожиданно услышал поразившую меня фразу, которую я не мог не взять в качестве эпиграфа. Произнесла её

девушка-композитор, которую зовут красивым именем Мирослава. Может быть, до неё многие выражались в таком же духе, но я их не услышал. Поэтому здесь я выражаю благодарность Мирославе за то, что она, сама того не подозревая, невольно подвигла меня предпринять усилия для того, чтобы роман вышел и на русском языке.

Надеюсь, читатель легко поймёт, почему роман в наши дни стал так насущно необходим, что автор решил всё же добиваться его издания, несмотря на все бюрократически рогатки разного рода.

ГЛАВА 1 ПСИХУШКА

Они давно ищут её.

Давно мечтали схватить её автора, чтобы по старой привычке распяты.

О, как они хотели бы. В тело бы гвозди вонзить молоточками, не спеша. Кровожадные монстры. Критиками себя считают. Белинскими. Куда им до Виссариона. Разве что до другого критика, до известного всем «Виссарионыча» рукой подать...

Каждый бездарь мнит себя писателем. Думает, если три слова вместе связать умеет, так уже и писатель. Или того больше — поэт. А иной уже и в пророки рвётся...

Грустная картина. Тина. Болотная тина. Зелёная такая — как бакс. Ну, или доллар, если по-литературному выражаться.

— А что вообще такое литература?

— У!

— Ау, где ты?

Ведь не это же болото затхлое детективного чтения литературой считать.

— Э-ге-гей!

Нет, не отзывается Пушкин.

Убили. Приговорили поэта. На Чёрной речке застрелили. Подставили. И киллера нашли молодого, белокурого.

И теперь найдут. Только высунься. Нет, примитивно убивать не станут. А вот опубликовать рукопись в полном объёме не дадут.

Не время, скажут.

А всё же не получилось у них меня к буйным засадить. На тихом отделении оказался. Второй раз в жизни. Первый раз — по ошибке врача, а вот теперь уже не по ошибке. Теперь — за дело. Потому что высунулся. Зачем-то полез

в политику. Ведь знал же, что грязное это дело — политика современная, а всё равно полез.

Ну, что у меня за темперамент такой общественный. Не сидится за письменным столом, всё на приключения тянет.

Вот и сейчас. Ведь и так ясно было, что вся эта избирательная кампания — сплошное надувательство. Нет, решил всё досконально проверить. Проверил. Убедился.

Теперь отсюда выбираться надо, иначе и на тихом отделении заколют.

Чуют видно опасность, вот и загоняют меня, как зверя в клетку.

Господи, да когда же это кончится...

Когда же, наконец, перестанут на Руси благородных людей травить?

Пить...

Очень хочется пить после уколов этих дурманящих. Что они там вкололи — амиозин, или галопиридол?

Не говорят. Ладно, завтра встреча с лечащим врачом, он разберётся, если не подставной.

А сейчас спать.

Устав от горестных дум, герой наш заснул, чтобы проснуться через десять часов глубокого сна, в который он погрузился первый раз за последние трое нервных суток.

* * *

Герой наш был доверенным лицом одного кандидата в депутаты, но не это было главным в его биографии. Главным всё-таки было то, что он был довольно известным писателем и искусствоведам, автором ряда оригинальных произведений, которые имели определённый успех в среде читающей публики. В этой среде в последнее время ходили упорные слухи о том, что писатель этот обладает уникальной рукописью романа, который он по каким-то соображениям не хочет публиковать при жизни. Откуда это было известно — трудно сказать.

Но слухи, как показывает опыт, обычно имеют под собой какую-то почву. Что это был за роман, и был ли он в действительности — никто ничего определённого сказать не мог. Но находились люди, которые пересказывали другим некие отрывки из этого романа, даже называли действующих лиц, а кто-то знал и имена главных героев. Один писатель-фантаст вдохновенно уверял своих подвыпивших приятелей, что такой великой вещи он ещё не читал и с азартом убеждал своих бледных от восторга собратьев по перу, что это много круче Булгакова и Солженицына вместе взятых. Это почти как Серафимович (действительный автор «Тихого Дона»), только там вместо казака Григория курсант советского военного училища и замужня иностранка, потомок белоэмигрантов. Непередаваемо описана их любовь в условиях тоталитарного режима. Но главное — не в хитросплетениях сюжета. Главное — каким языком это написано. Бунин и Набоков отдыхают — безапелляционно заявлял фантаст и победоносно смотрел на притихшую аудиторию.

Писателя, автора таинственно-скандальной рукописи, звали Иван Михайлович. Фамилию он носил вполне обыкновенную — Каликин.

Официально он был известен как автор двух поэтических сборников, нескольких рассказов и небольшой повести, в которых действительно ощущалось литературное мастерство и умение создавать подтекст. Словом — он не был дилетантом в литературе. Но на литературную премию его не выдвигали.

Не за что было выдвигать.

В МОНАСТЫРЕ

Дорога, петляя среди зимнего, сказочно-красивого леса упёрлась неожиданно в ворота монастыря. Не впервые Петров навещал это святое место и всякий раз поражался чудесному появлению монастырских ворот рядом

с проезжей дорогой. Бывал он здесь и один, и с детьми, а сегодня приехали они на своей старенькой, но все ещё живой «Волге» вдвоем с супругой. Приехали взять святой воды и поклониться главной святыне — Тервенической иконе Божией Матери, недавно вернувшейся из Петербурга — с подворья, где к ней прикладывался православный народ.

Были святки. Неспешно падал снег. Белое безмолвие царило вокруг — тишина казалось нереальной. Перекрестившись и поклонившись, они вошли в знакомые ворота и пошли по аллее в сторону главного Покровского храма. С горки, где стоял храм, открывался чудесный вид, с детства знакомый Петрову, — он был родом из соседней деревушки и ещё в те далекие босоногие годы бывал в этих местах — рыбачил на озере.

Давно это было.

Теперь же, когда почти заброшенное людьми место это освещалось ежечасной молитвой, какая-то особая благодать была разлита в воздухе. Петровы приехали в послеобеденное время. Службы не было, но храм был открыт. Под его сводами пожилая монахиня читала молитвы и присматривала за порядком. Храм сверкал белизной. Петров вспомнил, как он выглядел ещё совсем недавно — ещё каких-нибудь пять–шесть лет тому назад, и с умиротворением отметил, что не зря жертвовались православным народом последние крохи на восстановление погубленной советской властью красоты. Теперь трудно было даже вообразить ту мерзость запустения, которая ещё недавно безумно царствовала здесь и, казалось, не будет ей конца.

Но не так судил Господь.

Словно по мановению чудесного жезла восстала среди сурового северного леса необыкновенной красоты обитель. Жаль, не дождала до этого чуда бабушка Анна Петровна, позаботившаяся о крещении любимого внука ещё в раннем детстве. Петрову было года три–четыре, когда пришел в бабушкин дом крепкий бородатый мужчина

и, посмотрев на малыша веселыми глазами, сказал: вон пострел-то у тебя, Петровна, какой вымахал, что же не крещён до сих пор? Бабушка прослезилась и ответила — так ведь на сто верст вокруг ни одного батюшки не осталось, отец Николай... Слава Богу, что Вас дождались. Мужчина, которого бабушка назвала отцом, был младше её по возрасту и смыслённый внучёк каким-то чудом понял, что это и есть тот батюшка, которого верующая бабуля звала откуда-то издалека окрестить подрастающее чадо. На бабкины слёзы отец Николай только вздохнул, но ответил твёрдо: ничего, возродится ещё Русь православная.

Хорошо, на всю жизнь запомнил святое крещение Петров — было оно произведено по всем правилам, с полным погружением, только не в храме, а в запёртом от постороннего взгляда и случайного гостя бабкином доме. Дом этот до сих пор стоял цел и невредим, только бабушка давно уже была в краях иных, да и священника того, отца Николая, скорее всего, на этом свете нет. А все же по его слову вышло — возрождается православная Русь.

«Тяжело, невероятно тяжело, но поднимается несмотря на все нападки врагов — и внешних, и внутренних. Внешних — сколько их было и сколько их будет — всех их с Божьей помощью преодолеем, — думал Петров. — Внутренний враг — вот это пострашнее. От него на Руси все беды. Это он понастроил дискотек и ночных клубов, казино и ресторанов, где похабные девицы ублажают взгляды похотливых посетителей. Это он спаивает народ, приучает к наркоте молодёжь и бороться с ним с каждым годом все сложнее — слишком большую силу он возымел, даже средства массовой информации на него работают. Одно только Ти-Ви чего стоит. А с другой стороны, — думал Петров, — коммунисты тоже полагали, что вечно будут править Россией. Не дал Господь. Не даст и этим, как бы ни пыжились, какой бы лжи и мерзости ни изобретали. Пройдут и они, как проходит страшный сон».

А вот этот монастырь — останется.

Теперь уже никто не посмеет поднять на него свою поганую лапу, потому что народ не позволит. Конечно, не тот народ, который пьет и ширяется, не тот, который пропадает на бесотрясках (дискотеках), а тот — другой, православный народ, создавший великую державу и сохранивший необыкновенную красоту. А ведь, казалось, не было никакой возможности это уберечь — очень уж ретиво хотели сбросить враги России все старье с корабля современности.

Поорали и ушли. А Русь осталась. И останется свечой во мгле для всех стран и народов мира.

Судьба у неё такая.

*Тервеничи–Санкт-Петербург.
Январь 2001 г.*

Этот рассказ неизвестного Третьякова, опубликованный в писательской многотиражке с громким названием «Литературный Санкт-Петербург», одно время выдавался в среде знакомых и друзей Каликина за отрывок из его неопубликованного романа. Сам он этого права публично никогда не признавал, а только иронически и как-то загадочно улыбался, когда кто-нибудь из слишком любопытных приставал к нему с надоедливymi вопросами об авторстве. А некоторых он обрезал, говоря, что не хочет поступить как Серафимович и сдать в аренду до лучших времен своё выстраданное произведение какому-нибудь юному дарованию вроде Шолохова. «Незаконнорожденных детей у меня нет», — с легкой улыбкой добавлял он при этом и с интересом наблюдал за реакцией собеседника.

А дело было в том, что Каликин был убежден в правоте своего приятеля писателя Пожарского–Таланкина, который не первый год доказывал, что все литературные произведения за Шолохова написал Серафимович. Он сам проверил все доводы Пожарского и полностью встал на его позицию. Да и действительно, в России 1920-х годов не было другого казачьего автора, который по масштабу дарования мог бы осилить «Тихий Дон». Ведь необразованному и юному Шолохову не под силу было бы написать

даже страницу «Тихого Дона» — в это только литературные чиновники да партийные бюрократы могли поверить, а уж профессиональные писатели сразу почувяли неладное.

Шолохов все же предал своего отца-благодетеля, не открыл правду после смерти Сталина. Да Бог ему судья — может, партия в лице дорогих Никиты Сергеевича и Леонида Ильича не дала открыть. А может, и супруга — незабвенная Мария Петровна, которая после смерти Александра Серафимовича помогала мужу хранить тайну. Как бы там ни было, а всё же роман был опубликован ещё при жизни великого «Лысогора» (так Леонид Андреев и Бунин называли Попова-Серафимовича), а с этим романом и вся история страны Советов пошла по другому сценарию — не по тому, который хранился в головах пламенных революционеров. Так что спас Серафимович тайным проектом своим русскую литературу. И сына своего незаконнорожденного, Мишатку своего, в люди вывел даже в условиях сталинского тоталитаризма. Рисковал, конечно, но риск для казака — привычное дело. А сам-то Шолохов, должно быть, и не знал, чей он сын. Так и умер в неведении. Жаль, что спился и помельчал: Пастернака, Твардовского, Солженицына под диктовку партийных органов поучать и оговаривать стал...

Ну, так ведь слаб человек. Любой человек слаб. А тот, кто себя сильным считает, тот самый слабый и есть.

* * *

«Так, что же я ему скажу этому очкастому умнику-профессору, который наверняка уже заранее поставил мне диагноз вроде затянувшегося реактивного состояния у эмоционально-лабильной личности? Может, лучше вообще помолчать? Да нет, опасно, запишет в глубокие шизофреники — этот свою докторскую диссертацию ещё при старом режиме защитил. А там с отклонениями не чикались — не желаешь говорить, значит шизик. Слишком разговорчив — тем более. Умничаешь — тоже

плохо. Придется пройти по нервному срыву, тем более — не впервой».

Он спокойно отвечал на вопросы профессора, который очень хотел загнать его в угол тяжёлой шизофрении или паранойи, и одновременно сам своим писательским взором изучал этот человеческий тип уверенного в себе глубокого психопата, от которого, скорее всего, тяжело страдают жена и дети. Профессор явно куда-то торопился, то ли по делу, то ли на свидание с молодой любовницей — это избавило Каликина от слишком въедливого диалога. Определив писателя на нервное отделение, нервный профессор стремительно, по-ленински, удалился. Лечение должно было занять месяц-полтора драгоценного времени. Полтора месяца — срок завершения романа, который давно лежал у него в загорелом старенького компьютера мёртвым грузом и не двигался с места. Для него словно настала эпоха застоя. Уже месяц он не мог заставить себя сесть за рабочий стол и что-нибудь написать. Что-то с ним происходило. Может, и правда — нервный срыв. Или — не дай Бог, начало шизофрении.

«Не дай мне Бог сойти с ума», — вспомнил он бессмертные строки Александра *Сергеевича* (так он обычно именовал Пушкина), и сердце его благодарно забилося, словно снова почувствовало рядом что-то родное и близкое. За что он так любил Пушкина — Каликин не мог сказать, он просто любил его целиком, любил глубоко и беззаветно, как может любить только русский православный человек. «Не дай мне Бог сойти с ума, нет — лучше посох и сума...». Бессмертные строки всплывали в памяти, а вместе с ними он представлял себе довольные физиономии его врагов, которым удалось затолкнуть его сюда. Пусть и на время, но это как раз то время, в которое он мог бы помочь своему кандидату в депутаты. А впрочем, и без него там команда сильная — как-нибудь прорвутся, если очень захотели власти. Странные всё же люди. Ведь давно известно, что власть и богатство только портят человеческую натуру,

уродуют представление людей о мире, предполагают ответственность и различного рода обязательства... а они все рвутся к этому, как ночные мотыльки к огню. И каждый полагает, что он обязательно все устроит.

«И всё хотят изгадить для общего блаженства», — метко подметил Алексей Константинович Толстой, ещё один гений русской литературы наряду с Пушкиным и Серафимовичем-Поповым. Ну и конечно, Достоевским, которого Каликин иначе как пророком не почитал. Этот титанище и теперь ещё пугает бесов своей прозорливостью, своим глубоким духовным анализом человеческих типов и поступков. Куда этим жалким постмодернистам и всем новоявленным инженерам человеческих душ до одной страницы великого Феодора — почему-то до сих пор не причисленного к лику святых. Вообще это как-то странно — святые цари, князья, воины есть, художники-иконописцы имеются, даже благочестивые раскаявшиеся разбойники в почёте и уважении, а вот писателей среди святых нет. Разве что Роман Псалмопевец, но он ведь не писатель в строгом смысле этого слова.

Хотя нет, есть писатели, конечно же, есть. А евангелисты — не писатели разве? Самые настоящие, самые глубокие и самые талантливые писатели. Да один Иоанн Богослов чего стоит. Пожалуй и не найдёшь в истории другого такого же писателя по величию слога. «Вначале бе Слово...».

Мороз по коже. Волосы на голове шевелятся. Вот оно как оказывается — Слово всё вокруг создало, всё объединило, всё украсило, к жизни пробудило. Словом Бог создал мир и всё, что — в нём. А мы смеем сорить словами.

День незаметно гас. Солнце уходило за горизонт. Он смотрел в окно своей палаты и вспоминал, как команда скорой психиатрической помощи, вызванная заместителем директора музея, уговаривала его не сопротивляться и следовать за ней в машину. А он и не сопротивлялся. Он всё пытался дозвониться супруге своей Татьяне Евгеньевне

домой по музейному телефону, ругая себя за то, что до сих пор не купил «трубы» ни себе, ни ей. Технический прогресс тут бы был кстати. Так и не дозвонившись, он сдался, наконец, ангелам с недобрыми лицами и спустился на набережную, где уже минут двадцать их ожидала машина. Он ждал выстрела в затылок, смертельного укола, но и на этот раз всё прошло по старой схеме. Просто отвезли в «скворешник». В тот самый «скворешник», в котором он побывал ещё в тухлую брежневскую эпоху мезозоя. Доктора, лечившие его тогда, давно уже на пенсии, а кто и перешёл в мир иной. Сменившие их специалисты ничем не отличались от предшественников. Непременный успокоительный укол он получил сразу же, как только переоделся в больничную робу. Медсестра, несмотря на либеральные веяния, хотела, чтобы Каликин кроме одежды снял и крест, но Иван Михайлович категорически отказался это сделать.

Да, здесь ничего не изменилось за тридцать бурно прошедших лет... Да и что могло измениться, ведь как и тогда, они смотрят на него как на безумца. И в самом деле, не безумие разве разговаривать с космосом, как разговаривал он в своём музейном кабинете, бормоча какие-то странные слова молитвы. Никто из них не обязан был понимать, что Каликин находился в это время в том самом состоянии восхищения на третье небо, о котором повествовал апостол Павел. Он был там, куда простым смертным путь закрыт, переживал состояние необыкновенной духовной радости и просветления. Он пел вместе с Давидом псалмы на древнееврейском, вместе с Пушкиным слышал, как шумит небесный Гвадалквивир.

Ну вот, потому, собственно, и оказался здесь. Такие вещи даром не проходят. Недруги вызвали врачей, он попробовал от них отказаться, но не получилось. Хорошо ещё, что не стал активно сопротивляться, а то загремел бы на буйное отделение.

Из «скворешника» его наутро отпустили, но взяли обязательство подлечиться в «Бехтеревке». Дал. А за свои слова он всегда привык отвечать. И вот он здесь, под прищмотром нервного профессора и тихого лечащего врача — исключительно приятной старой девы, так и не нашедшей себе достойного супруга. Да и где их сейчас найдешь — так, «гопота» одна. Страна стремительно скатывалась в пропасть необъявленной войны, армия и прочие силовые структуры задыхались от коррупции, дедовщины и предательства, олигархи прятали свои наворованные капиталы за рубежом, а он всё не мог опубликовать роман века. Что-то мешало. Никак не удавалось до конца выстроить сюжетную линию, она рвалась и ускользала — как тот ручей, который ушёл под землю по слову Александра Ошевенского в Каргополье, в наказание крестьянам, не позволившим построить монастырь на общинной земле.

Сумерки опускались, стал накрапывать дождь. Глухая петербургская осень прилипла к стеклу. Помолившись, он лёг в кровать и закрыл глаза. Настало время все ещё раз обдумать. Вряд ли они пойдут на то, чтобы убить его здесь. Ведь тогда им никогда не завладеть рукописью. Да и вряд ли они знают всё её содержание, он хранил её по частям в разных тайниках. Они владели всего лишь одним небольшим отрывком. Но всё же сумели оценить — с тех пор сели ему на хвост. Все ждут, когда же он предложит её целиком, чтобы тут же схватить и уничтожить опасный текст, а заодно и его тоже. Сумели оценить — это, конечно, сильно сказано, эти гидроцефалы так и не смогли понять, что настоящая рукопись в принципе неуничтожима. Впечатление такое, что они вообще лишены какого бы то ни было элементарного рассудка. Монстры, выдающие себя за людей. О таких типах Эжен Ионеско в своё время написал до сих пор популярную вещь — пьесу «Носороги». Жаль их, как жаль любую заблудшую душу, но и компромисс с ними невозможен, ибо нельзя метать бисер перед свиньями.

Затопчут.

Они боятся этого романа — как волки огня. И вместе с тем враждебной стаей стоят в небольшом отдалении от него, чтобы наброситься и разорвать на куски при первой же возможности. Почему так? Чем им мешает живое русское слово, простой русский язык? Зачем нужно изгаляться и насмешничать, устраивают постылые шоу — и всё для того, чтобы дискредитировать его в глазах общественности. Хоть дело не в нём самом, конечно, дело в рукописи, которая одна только и имеет ценность, всё остальное — от лукавого. Интересно, во сколько бы они её оценили, если бы он решился её продать, следуя совету незабвенного Александра Сергеевича. В старое время, в пушкинскую эпоху, он бы и продал — что тут такого. Но нынче не те времена. Совсем не те времена. Нынче продать такую рукопись — значит отдать врагу на поругание. А эта рукопись для него была как икона намоленная, разве можно продать такую икону. Да ни за какие богатства мира сего не станет он её продавать...

Он только подарить её может. Знать бы только точно кому. Где он тот достойный, которому истину подарить можно, как Серафимович Шолохову подарил, или как Господь — апостолам. А нет его, не просматривается на горизонте, не родился ещё. Не этим же приколистам и пародистам разным на посмеяние отдавать. Они и не поймут, о чём она. Не для них написана. Для посвящённых, для тех, в ком душа живая. А у пародистов этих нет её давно, души-то, один юмор животный остался. И всё ниже пояса — в духе какой-нибудь кривой кобылы, претендующей на оригинальность.

Тоска зелёная. Долларовая. Стопудовая.

Да и как ей, тоске этой не возникнуть, когда обложен со всех сторон, как зверь охотниками. Как бы и действительно параноиком не стать. Это ведь легче всего. Здоровым в таких условиях труднее быть.

Пить.

Очень хотелось пить после того укола, полученного ещё вчера в знаменитом «скворешнике», где больные люди лечили больных людей.

Профессор и дежурные сестры, слава Богу, в палату не заглядывали, и он, лёжа под одеялом, спокойно размышлял над завершающей главой романа. Тяжела судьба русского человека, чудо как тяжела. А почему так? Да потому, что со Христом он, с Крестом он, с мучениками и преподобными. Не будет ему легко до конца времен. Так и будут его мучить звери алчные, пиявицы ненасытные — как бы они в какое время не назывались — салтычихи ли, трюцкие ли, берии, или новоявленные, олигархами себя объявившие. Русский человек разве может быть олигархом? Если может, то уже и нерусским становится. Над мощной своей трястись начинает, прятать капиталы свои, а там, смотришь, и за границу отъезжает. Там, стало быть, их духовная родина — олигархов-то.

Ночь становилась все мрачнее. Дул западный ветер. Деревья в больничном дворе недовольно шумели, готовясь к долгой северной зиме. Тело под одеялом приятно разогрелось, и он погрузился в сон, какого давно у него не было.

О, это был дивный сон!

Ему приснилось до мельчайших подробностей одно паломничество, в котором он был несколько лет назад с известным петербургским батюшкой отцом Геннадием. Все было так хорошо и ясно видно, как будто происходило наяву. Он увидел Царское Село и знаменитый Феодоровский храм, Москву с её Кремлем и Красной площадью, Волгу, по которой паломники плыли на кораблике, чтобы поклониться затопленной Мологе. Но только вместо Мологи увидел он нечто большее, не сам ли Небесный Иерусалим сверкал сквозь волжские воды, приводя его в состояние молитвенного восторга и трепета. Да, это был он — Иерусалим — Русалим, которого жаждало его сердце, к которому рвалась его душа долгие годы, натываясь

лишь на удары судьбы, каменное нечувствие и плотскую косность материального мира, окружающего его своей мерзостью запустения. Он пел молитвы и тропари, шёл с иконой в толпе других паломников, испытывая сладостный восторг истинного бытия. Как жаль, что это был всего только сон, сон — воспоминание, сон — предощущение. Какая разница — все равно только сон.

А наяву было хмурое утро, была озабоченная врач, у которой что-то не складывалось в личной судьбе, и была медсестра с капельницей, предназначенной для очистки организма. Ладно, пусть чистят. Лишь бы не кололи одурманивающих уколов, как в «скворешнике» в славное брежневское время, о котором до сих пор кое-кто ностальгически вздыхает. Их бы туда на недельку-другую. Интересно, как бы они заговорили после того.

В детстве он был впечатлительным мальчиком. Он не любил мучить животных, не любил участвовать в мальчишеских драках, а любил слушать бабушкины рассказы о старых временах и ещё любил ходить в лес и на рыбалку. А потом полюбил поэзию. Первое стихотворение Каликин написал, когда ему исполнилось двенадцать лет. Оно было, конечно, примитивным, но искренним. Теперь, за давностью лет, он не помнил его целиком, но там были такие строки:

Хорошо, что дождичек падает с небес,
Хорошо, что дождичек защищает лес.

А ведь и действительно, не будь дождей, сторел бы лес, да и только. Всё в этом мире продумано. Всё устроено по какому-то великому замыслу Творца. А человек не всегда это понимает и принимает. Нет в нём смиренного благоговения перед жизнью. Бунтует он, богоборствует, пытается святое испохабить. Не всякий, конечно, человек. Но многие. Ох, многие.

В тот лес, который он любил с детства, теперь Каликин заходил с болью сердца. Лес был варварски вырублен

и загажен, словно здесь хозяйничала орда каких-то завоевателей, а не коренные жители этих мест. А, в общем-то, и действительно так. Коренные жители в основном были люди безденежные, простые работники, а заправляли лесными угодьями олигархи из крупных городов. Им было не до культуры лесозаготовок — хотелось побыстрее урвать куш и отвалить на Канары. А можно — в Турцию или на Кипр. На худой конец — и Новая Зеландия сгодится. Только подальше, подальше отсюда, от этой убогой и непонятной, а потому и страшной для них страны. Россия как сырьевой придаток Запада ещё может иметь право на существование в этом мире. Россия как сверхдержава со своей самобытной культурой, своими передовыми технологиями, стабильная и процветающая, мало кого устраивает, а некоторых даже пугает. Но чего же они боятся, оппоненты великой России — её пространств? Это вряд ли. Её военной силы? Она давно уже не та, какой была ещё недавно. Боятся они одного только — величия русского духа. А дух этот в слове проявляется. В свободном русском слове. Вот потому и ведут войну необъявленную с русскими писателями, с великим и могучим русским языком. Сколько настоящих писателей погибло под катком бездуховности и шоувидения за годы перестройки — кто ответит? Никто не скажет, нет расчётов таких. Но ведь и население сокращается — по миллиону и больше в год. Были среди этих миллионов и таланты, и даже гении, не реализовавшиеся... А сколько поднялось фальшивых, дутых величин, халифов на час — несть числа.

А власть...

А что власть? Власть она на то и власть, чтобы есть всласть. Особенно, если власть эта — временная. Вот царь или император — там другое дело. Там — хозяин, уж он присмотрит за тем, чтобы державу не разворовывали.

Мысли его текли в привычном русле болезни за Россию и народ. Раствор потихоньку из банки вытек, вошла медсестра и вынула иглу. Дышать стало легче.

Легче в том смысле, что можно было не лежать, а пройтись по палате, выйти в коридор, размять затёкшее от лежания на больничной койке тело. Контингент больных нервного отделения был самый разный. Были здесь дамочки с глубокими невротами, были призывники, мечтающие отмазаться от армии, были не вполне нервные, а скорее тяжёлые психбольные, но по каким-то соображениям направленные профессором на нервное отделение. Они присматривались к Каликину, как к какой-то белой вороне. Он и был здесь белой вороной — ему выделили двухместную палату на одного. Каким-то образом прошел слух, что он писатель и на него посматривали с любопытством. К счастью, никто не лез с просьбами подарить книгу. Да и дарить-то ему было нечего. У него до сих пор было опубликовано только несколько рассказов, да два поэтических сборника, по которым он и был принят в Союз. Принят он был единогласно, и тут свою роль сыграли не только сами стихи, но и рекомендации трёх известных петербургских поэтов, с одним из которых Каликин переживал сейчас охлаждение отношений. Почему это произошло — он и сам не мог точно объяснить, но с тех пор, как поэт этот стал главным редактором нового литературного журнала, он ни разу не напечатал стихов Каликина. Зато себя и друга своего печатал чуть ли не в каждом номере. Глупо и смешно, но что поделаешь — власть портит многих людей. В том числе и называющих себя православными, но на деле ещё далеких от истинной православной веры. Так было, есть и будет до конца времён.

Мимо стремительно пролетел нервный профессор, не ответив на приветствие Каликина. Каликин его, судя по всему, вчера не заинтересовал — а, может быть, это была психологическая уловка, наш профессор решил проверить его реакцию на подобное поведение. Глупый, глупый клоун, он не учёл одного — в своем знаменитом музее Каликин давно уже привык к обычному хамству некоторых коллег, забывающих по каким-то соображениям ответить

на вежливое приветствие (как правило, эти хамы никогда не забывали первыми поздороваться с начальством).

Рукопись он носил в своей памяти, она по существу всегда была с ним и была недостижима для врагов. Те отрывки, которые им удалось похитить и уничтожить, были несущественными фрагментами огромного полотна, своего рода сверхкартины — вроде той, над воплощением которой много лет трудился один чудаковатый петербургский художник.

В Петербурге и вообще в России много чудаков, точнее сказать — много талантливых людей, которые рациональным европейцам кажутся странными и даже опасными чудаками. Ну, не чудаком разве был Циолковский, или Иван Павлов, или — Модест Мусоргский, или — например, Шаляпин. А уж каким чудаком был Лев Толстой — тут и спору нет, даже в ересь из-за своего чудачества впал, что и на творчестве его стало сказываться не лучшим образом. Каликин вздохнул с сожалением о загробной участи Толстого, а вдруг Господь не простил его еретических заблуждений. Жалко русского гениального писателя. Неужто гореть ему в огне адском?

Авось, супруга и детки с потомками отмолили. Дай-то Бог. А что до тех современных «сверхправославных» писателей, что нынче бодро лягают русского гения, то вспоминалась ему басня Крылова про слона и моську. Очень похоже. Все они со своими догматически правильными творениями не могли написать и страницы толстовского уровня текста. Потому что писателями они никакими не были, а так — функционерами от литературы. Да разве «Войну и мир» можно сравнить с творениями какого-нибудь Брюханова! Это если только в холуйский восторг перед начальством литературным впасть. Тогда — можно. Тогда всё можно. Тогда и Лёню Брежнева с сотоварищами можно писателем признать и премию ему литературную вручить.

Странно всё же устроена Россия. Вроде бы всё у человека было — и власть и деньги, а ему писателем захотелось

быть. Вот она — незримая власть слова. Мало быть правителем, мало владеть жизнями подданных, подавай большее — души человеческие. Не знаю, как за Афганистан, а вот за потуги писательские придётся «бровеносцу» на Страшном Суде ответить. А куда денешься — все писатели за слово своё отвечать будут. Страшно это. Бросить бы всё, да и закрыться в келье, но вот только рукопись не даст и там покоя, горит она ярким пламенем в душе, продолжения требует. Концовки настоящей, стоящей.

Жизненной, одним словом.

Как там у Серафимовича–Шолохова: «Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром...».

У Григория, к счастью, сынок остался, а самого-то, конечно, расстреляли большевички — кошевые, они не либеральничали. Да и сынка, небось, так перевоспитали, что он и папку с мамкой забыл. Обманкуртили.

Это они умели.

Каликин походил по коридору, полистал в комнате отдыха старый журнал с неинтересным содержанием и вернулся в палату. Сегодня была пятница, и на выходные больных нервного отделения отпускали домой после беседы с лечащим врачом. Александра Михайловна отпустила своего подопечного без проблем.

Дома Каликина ждала жена и семеро детей. Все были встревожены этой историей, ведь раньше никаких странностей с ним не происходило. Сказать им правду он не мог, малы ещё во взрослых разборках участвовать. Да и не понять им, в чём суть дела. Поэтому для детей мудрой супругой было сказано, что папа лечится от давления. Зачем их зря волновать. Успеют ещё подергаться в предстоящей им взрослой жизни. Жена была взволнована и с беспокойством присматривалась к его поведению, видно поверила, что он и вправду немного не в себе. Это раздражало и удивляло Каликина. Он чувствовал себя вполне здоровым

человеком и был им, а то, что произошло, было только провокацией, глупым недоразумением, которое яйца выеденного не стоило. Как объяснить ей, что он совершенно здоров, если любая женщина на генном уровне хочет быть заботливой. Ладно, считайте меня больным коммунистом. Под бдительным оком жены он покорно глотал таблетки, выписанные Александрой Михайловной, и чувствовал себя волком, попавшим в капкан. Таблетки не оказывали на него заметного влияния, ему не стало ни хуже, ни лучше. Здоровый организм спокойно перерабатывал их, и Каликин мог работать над завершением рукописи. Отвлекало только то, что неожиданно пригласили прочитать курс лекций в альма-матер вместо уехавшего на стажировку в США профессора. Сам Каликин давно был доцентом и в профессоры не рвался, но прочитать согласился, всё же это давало какие-то деньги, которые всегда пригодятся в большом семействе. Он любил бывать в альма-матер, где прошли лучшие годы его молодости, любил этот узкий длинный кокориновский коридор, аудитории с высокими потолками, лёгкий запах масляной краски, всегда присутствующей в стенах императорской Академии. И даже фотопортреты полузабытых советских профессоров на стенах коридора тоже не раздражали его. Ведь многие из них были его учителями и многому всё же научили его. Кто-то из них, как выяснилось теперь, даже тайно ходил в церковь. А ведь в то время насильственного атеизма это что-то значило. Это не то, что теперь, когда поход в церковь стал обычным делом, чуть ли не обязательным ритуалом добропорядочного гражданина.

Рукопись не отпускала его от себя. Она властно держала его в поле своего воздействия. Она жгла его изнутри, будила среди ночи, не давала покоя днём. Он был одержим работой над каждой страницей, чувствуя, что приближается конец почти двадцатилетней работы по созданию романа. Оставалось всего ничего — ещё немного, ещё чуть-чуть. Оставался тот самый последний, самый трудный бой.

ГЛАВА 2

СЛУХИ И РАССЛЕДОВАНИЕ

Слухи о том, что Каликин написал роман века, появились как-то сами собой. Кто распустил их, было не совсем понятно. Но они нарастали, как снежный ком, и литературное начальство было очень обеспокоено складывающейся ситуацией. Проблема заключалась в том, что Каликин не принадлежал ни к одной из известных литературных тусовок и, следовательно, был неуправляем. Кроме того, по табелю о рангах незримо действующему в любой организации он не имел права написать роман века. Это должен был сделать руководитель организации, или на худой случай его заместитель. Понимая всю остроту складывающейся ситуации, правление союза решило провести внеочередное заседание. Первым попросил слова постоянный вперёдсмотрящий поэт Махров. Он сразу же взял быка за рога.

Друзья, прочувствованно произнёс поэт. В нашу организацию проник так называемый «крот». Он был принят в наши ряды недавно и на первых порах хорошо себя зарекомендовал, но сейчас стал забывать своё место и тех, кому он обязан. Этим кротом является член секции поэзии поэт Каликин, написавший по данным весьма информированных источников так называемый роман века. Я лично считаю, что тем самым Каликин нарушил табель о рангах и заслуживает исключения из наших рядов. У меня всё — скупое, почти по-военному закончил Махров своё краткое, но очень эмоциональное выступление.

Махров знал, что говорил, ибо кроме того, что он писал посредственные стихи, он ещё был связан с секретными службами, которые располагали большей информацией, чем руководство писательской организации. Правление возбуждённо зашевелилось

— Это безобразие — кто позволил ему, никому не известному писателю, брать на себя такой ответственный труд, — раздался голос старого убеждённого коммуниста, члена партии с 1965 года, известного писателя — Воронкова.

— Да какой он писатель, рифмоплёт несчастный, — досадливо отмахнулся другой ветеран и опытный редактор — беллетрист Беленький.

— Минуточку, — постарался быть объективным, хоть ему не очень хотелось, председатель правления, — раз он является членом организации, значит, всё же не просто рифмоплет.

Спорить с этим было бессмысленно, и все напряжённо замолчали, обдумывая ситуацию.

А то, что ситуация складывалась угрожающая, было понятно всем. Ведь слухи о качестве романа давно уже долетели до всей пишущей братии Петербурга. Они дошли даже и до самого живущего в Подмоскovie «Исаича», который пророчески произнёс, что в России скоро взойдёт новая литературная звезда.

Забеспокоились власти.

Они понимали, что ещё одного Солженицына им не пережить, и придётся сматывать удочки и уезжать из этой страны, куда глаза глядят — подобно семейству Акаевых.

— Как всегда повезёт евреям, они уедут на свою историческую родину, а куда уедем мы? — озабоченно вздыхал в своем поместье один этнически русский олигарх, сделавший своё состояние на продаже суперсекретных военных технологий.

Ответом ему были тяжёлые вздохи супруги. Напряжённость в обществе, и не только в литературных кругах, возрастала. Вот поэтому собственно и собралось правление писательской организации.

Затянувшееся молчание прервал наиболее радикально настроенный писатель Сколов.

Он сказал:

— Возможно то, что я скажу, покажется кому-то непопулярным, но я предлагаю запретить поэту Каликину публиковать свой роман.

— Сейчас у нас свобода печати, — парировала это заявление известная православная поэтесса Андреева, по доброму относившаяся к поэту Каликину и даже помнившая его ещё начинающим автором известного журнала «Звезда». Кроме того, она терпеть не могла этого Сколова и считала его бездарностью, много о себе возомнившей. Она уже жалела, что ей пришлось прийти на это заседание, но и не прийти она не смогла, поскольку женское любопытство было в ней сильно развито.

— В любом случае надо что-то делать, нельзя же сидеть сложа руки и дожидаться, когда он взорвёт эту свою мину замедленного действия, опубликовав роман в каком-нибудь коммерческом издательстве, — это был голос второго заместителя председателя, давно мечтавшего написать что-нибудь действительно стоящее, но всякий раз пугавшегося начальственного окрика и уходящего в кусты декоративности и интеллектуальной игры. Мысль о том, что его опередили, казалась ему чудовищной. Неужели вся жизнь прошла зря, зря лебезил и угодничал, зря выжидал и сидел в засаде, зря оттачивал перо, насмехаясь в литературных (шутка одного из его друзей) рецензиях над творениями малоизвестных собратьев по перу? Что же теперь? Банкротство. Поздняк метаться, всё пошло прахом. Он готов был завывать и завыл бы, если бы начальство разрешило.

Наконец, слово взял лауреат многочисленных премий, заслуженный петербургский прозаик Корняев. Он прекрасно знал цену всему этому правлению и даже самому председателю — все они не стоили вместе взятые одной его строки. Но жизнь диктовала свои правила существования, и потому он был вынужден вращаться в этом кругу, выслушивать всю эту ахинею и участвовать в такого рода заседаниях.

Во-первых, хотелось бы знать, откуда поступила такая информация? И, во-вторых, что это такое — «роман

века»? Я вообще-то знаю только один «роман века», и его написал не Каликин.

Никто не стал спрашивать Корняева, какой роман имел в виду оратор. Все и так были уверены, что прозаик имел в виду свой последний роман, за который Корняев получил большую литературную премию. Корняев в общем-то тоже неплохо относился к Каликину, и даже похвалил того в одной литературной рецензии, но, конечно, не допускал мысли о том, чтобы малоизвестный поэт мог набраться наглости написать великий роман. Он сам ещё только подступал к нему, ещё только обдумывал основные узлы и характеры, ещё только начало его где-то брезжило в его подсознании. А тут какой-то выскочка, практически дилетант посмел забежать впереди паровоза. Это нужно было давить на корню. Как выражался знаменитый в славное советское время поэт Суконин: «Котят нужно топить, пока они слепые». Топить Каликина может и не стоит, но и называть его писанину «романом века» — это уже провокация, причём явно направленная против него, звёзды первой величины на литературном небе России. Есть правда ещё Солженицын, но тот морально устарел, да и супруга на него плохо действует...

Вообще с Солженицыным ошибка какая-то получилась, слабо он на самом деле пишет, хоть и получше того же Брюханова. И за что его так расхвалили? Что он такого написал? Разве что «Ивана Денисовича» да «Матрёнии двор», ну, может быть, «Крохотки», а ведь всё остальное — это же не литература, а публицистика.

Эти мысли промелькнули и погасли в голове нового русского писателя-пророка. Ещё одного Солженицына он терпеть был не намерен. Не для того ведь он трудился, не покладая рук, на ниве отечественной литературы, чтобы кто-то опередил его на финишной прямой. Он, конечно, не Сальери, но Моцарта рядом с собой не потеряет.

На прозвучавший риторически вопрос великого прозаика ответа не было. Неизвестно было, кто же в действительности назвал прозу Каликина «романом века».

Председатель решил ввести обсуждение в организованное русло.

— Товарищи, — до сих пор он только так обращался к собратьям по цеху, тем самым демонстрируя своё презрение к олигархическому образу правления, победившему в России 90-х, — мы должны прийти к единому мнению по этому вопросу и принять какое-то решение.

Великий прозаик возмутился:

— Какое тут может быть единое мнение, когда мы не видели и не читали этого так называемого романа века. А, может, там вообще не «роман — века», а «роман — калека».

Каламбур многим понравился.

Корняева поддержала поэтесса Андреева, нервно объявившая:

— Дайте нам прочитать хоть страничку-другую, тогда и будем принимать решение. А то в своё время напранимали решений по Ахматовой, Пастернаку, Твардовскому, Солженицыну, — раздражённо выдохнула она...

Ей уже изрядно надоело сидеть в душном помещении и выслушивать очередные благоуказания начальства. Хотелось на дачу, где были сад и огород, и где можно было отдохнуть от городской суеты. Вообще в последнее время её раздражало всё в этой безумной жизни. Больше всего, конечно, раздражали власти, которые бросили писателей на произвол рынка. А рынку поэзия не нужна. Поэзия всегда нужна была единицам. Правда, что это были за единицы! Где они те любители и те авторы? Нет уже их, а при нынешнем уровне культуры и не будет. Мир действительно к гибели несётся, как написал поэт Шестов. Кстати, где он, он же член правления?

— А где у нас член правления — поэт Шестов? — громко произнесла поэтесса.

— Он в отъезде по полям боевой славы России, — с плохо скрываемой иронией и завистью в голосе произнёс молчавший до сих пор в своём углу поэт-надомник (так он сам себя называл) Владимир Меньшов.

— Ваша ирония тут неуместна, — строго обрезал поэта-экспериментатора поэт Махров.

Все присутствующие молчаливо поддержали Махрова.

Поэт Меньшов не стал оправдываться и снова ушёл в свои безрадостные мысли об увядании чистой поэзии в мире.

Многие сейчас позавидовали известному петербургскому поэту Шестову, живо представив, как он в окружении литературной свиты путешествует по городам и весям, встречаясь с местной общественностью и народом, посещая места боевой славы и знаменитые монастыри центральной России. Шестов не раз приглашал в путешествие и Каликина, но тому не выкроить было времени, он не мог на три недели оторваться от рукописи, он должен был хоть два часа в день посидеть над её страницами, выправляя и уточняя текст, углубляя психологические характеристики её героев. Кроме того, духовный отец Каликина протоиерей Василий не благословлял его оставлять семью больше чем на две недели. А Каликин всегда серьёзные вещи старался делать по благословению. Вот и в Союз писателей он вступил довольно поздно потому, что не сразу получил на это благословение. И свою первую книгу стихотворений Каликин напечатал с большим опозданием (по представлению многих его собратьев по цеху) потому только, что благословение на её издание было получено далеко не сразу. Отец Василий вообще настороженно относился к писателям и художникам.

— Гордыни в них много, самочиния — а с самостью бороться надо. Ты сначала походи в церковь, обмолись, воцерковись, а потом уже становись писателем, — сказал он Каликину, когда тот впервые, ещё молодым поэтом, подошёл к нему на исповедь и сказал о своём намерении напечатать свои литературные опыты.

С той поры прошло двадцать лет. Каликин женился, воцерковился, стал отцом большого семейства. Отец Василий тоже стал известным в городе батюшкой и тогда

только благословил Каликина опубликовать первую книгу стихов. После первой книги дал он благословение и на всё творчество, включая и занятия живописью.

Ну, а благословение, это как послушание, его надо исполнять.

Заседание правления незаметно вошло в свою завершающую стадию. Непонятно было, к какому мнению склонялось само начальство. Это беспокоило рядовых членов правления, особенно поэта Меньшова. Он был свободолюбивой личностью и любил фрондировать, но сейчас не представлял, как себя вести. Хотелось с чем-то поспорить, но спорить пока было не с чем.

— Я тоже считаю, что мы должны прежде всего ознакомиться с рукописью, — это произнес сам председатель правления, заслуженный деятель культуры и маститый прозаик (увы, не такой великий, как его заместитель Корняев) и остро посмотрел на всех членов правления, словно уличая кого-то из них в сокрытии рукописи.

— Действительно, ведь у кого-то наверняка есть копия, будьте же людьми, дайте другим почитать, — радостно заговорила поэтесса Пушкиова, недавний член правления, до тех пор молчавшая и обдумывавшая создавшуюся ситуацию. А ситуация складывалась не в её пользу. Дело в том, что она в своих восторженных рецензиях о поэтах Петербурга ни разу не упомянула поэта Каликина, словно его и не было. Секрет тут был прост, этот Каликин занимал слишком независимую позицию, не принадлежал к известным литературным группировкам и потому, как ей казалось, не имел большого литературного будущего. Она сделала ставку совсем на другого поэта, а тот запил и разменял свой талант на редакторскую работу. Было от чего забеспокоиться.

История может и не простить ей того, что она, тонкий литературный критик, не заметила восходящей звезды, — где же были тогда её вкус и квалификация? Со вкусом и квалификацией вообще были большие вопросы. Но на них

раньше можно было не обращать внимания, главное — держать правильную линию и хвалить кого надо, а кого не надо не хвалить. Теперь же всё перепуталось, и она не могла сделать окончательный вывод из всего того, что здесь происходило. Она только восприняла общую обеспокоенность и, как могла, старалась помочь председателю, устало взирающему на надоевшие ему лица членов правления.

Председатель уже понял, что ни у кого из них списка рукописи Каликина нет, и, стало быть, зря он проводил это заседание в слабой надежде уцепить эту ускользающую от него опасную рукопись.

Задачу найти и доставить «наверх» рукопись (или её копию) он получил от своего старого товарища по КПСС, а нынче большого человека в Кремле, помощника президента России.

Слухи о какой-то рукописи в Петербурге, подрывающей основы новой российской государственности, дошли до Москвы одновременно, если не раньше, чем до Смольного. Губернатор Петербурга Виолетта Мартвиенко уже имела конфиденциальный разговор с ним на эту тему. Правда, задачи найти рукопись она перед ним не поставила, а проявила только чисто женское любопытство относительно личности Каликина. Председатель охарактеризовал его как начинающего, но перспективного члена организации. Довольные друг другом они расстались вполне по-дружески, как два опытных номенклатурных работника времён благословенного застоя. Председатель вообще всё больше тосковал по тому старому, доброму времени, когда жизнь текла размеренно и чинно, без всякой там ненужной гласности и обезумевшего рынка, когда можно было не зависеть от спонсоров, а спокойно получать солидную зарплату и ездить в Коктебель отдыхать. «Развалили такую страну идиоты», — часто по ночам скрежетал он зубами и в бессильной злобе сжимал свои боксёрские кулаки (он начинал свою общественную карьеру в качестве талантливого боксёра в полусреднем весе). И тут с ним было

согласно, судя по социологическим опросам, большинство населения страны. Да только население ничего сделать не могло ни тогда, когда предприимчивые комсомольские активисты захотели покончить с диктатом КПСС и стать в одночасье миллионерами, ни тем более теперь, когда всё уже было схвачено и задушено в жарких объятьях всепожирающего рынка. Друг его, помощник президента, намекнул председателю, что в случае поступления рукописи наверх, его организации возвратят отреставрированный дом петербургских писателей, который был сначала подожжён, а потом и изъят всё теми же предприимчивыми рыночниками. Вот поэтому, только поэтому, он и взялся за поиски где-то по рукам ходящей рукописи, как в своё время ходила всякого рода самиздатская литература. И вот ведь досада, уже почти месяц он потратил напрасно. Никто из писателей не признаётся, что держал её в руках или хотя бы видел...

И при этом весь читающий город просто ходуном ходит, обсуждая явление нового Чехова, или даже Льва Толстого нашего времени. А дыма без огня не бывает — это он прекрасно знал, на то и писателем был. Неплохим, кстати, пусть и не считался до сих пор таким великим, как его заместитель Корняев.

* * *

Помощник президента США Билл Гиббон был разбужен ночным звонком. Звонили по специальной линии связи из ЦРУ.

— Сэр, только что было получено сообщение из России — там введено негласное чрезвычайное положение. Русский президент провёл закон о назначении губернаторов и теперь всюду ставит своих людей, сосредотачивая в своих руках огромные полномочия.

— И ради этого вы меня разбудили? — недовольно проворчал помощник, уставший от служебного рвения спецслужб.

— Нет, сэр, это только начало сообщения. Нам доложили, что появился некий писатель Каликин, который живёт в Петербурге и написал роман, подрывающий основы новой российской демократии.

— Вы, что, всерьёз полагаете, что у них там есть демократия? — устало пошутил помощник.

— Нет, сэр, мы так не считаем, но всё же времена холодной войны позади, и у нашего президента неплохие отношения с русскими властями.

— В политике, как вы сами знаете, друзей нет, есть только интересы.

— В интересах ли США появление такого романа сейчас в России?

— Никак нет, сэр!

— Ну вот и сделайте всё, чтобы такой роман не появился. По крайней мере, здесь, на Западе, он не нужен. Хватит с нас этих русских писателей, с их нездоровой психикой и вечной нелюбовью к богатым. Мы страна миллионеров, а не убогих рабов.

— Не понял вас, сэр.

— Я сказал, что роман не должен быть напечатан, а автор может пока жить, разрешаю даже оказать ему гуманитарную помощь, если он в ней нуждается.

— Весьма нуждается, сэр, у него семеро детей и жена — преподаватель.

— Что ж, пусть им подбросят через наших друзей в России какую-нибудь продовольственную помощь. Ещё вопросы есть?

— Не вполне понятно, сэр, что делать с самой рукописью.

— Да что с ней делать, я по-русски не читаю, вы, насколько мне известно, тоже, так что пусть остаётся у автора. Главное, чтобы она не была опубликована. А если будет возможность найти и уничтожить эту рукопись, то надо её сжечь.

— Есть, сэр. Будет исполнено.

Помощник положил трубку на ночной столик и задумался. Вечно эта Россия преподносит какие-то сюрпризы — то Чернобыль, то атомоход «Курск», то теперь вот — какой-то странный роман. И как это роман может подорвать основы государственности? Впрочем, если в ЦРУ так посчитали, значит так и есть. Ведь подорвал же «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына Советский Союз, так почему же роман этого Каликина не сможет подорвать тот режим, который с таким трудом удалось утвердить в России. Тем более теперь, когда народ там вымирает катастрофическими темпами, сравнимыми только с африканскими государствами. Да, эти русские олигархи — отчаянные люди, а может просто глупые, забывают о том, что делиться надо. Забыли, должно быть, как выглядит революция. Или, может, думают у нас отсидеться? Не получится. Нам они не нужны. Пусть с ними их родина разбирается.

Недовольный тем, что его сладкий сон был нарушен, он повернулся на другой бок и заснул, спеша погрузиться в очередное сновидение, навеянное одной из серий его любимых «Звёздных войн».

* * *

Генерал ФСБ Пакушев был в ужасном настроении. После вчерашнего разговора с президентом болела голова, и в области сердца покалывало. Вроде бы президент обошёлся с ним вежливо и не нахамил, как это иногда делают сильные мира сего, а всё же осадок остался. Ему, Пакушеву, было поставлено на вид много недоработок, но самое обидное, что только что от коллег из ЦРУ в аппарат президента поступила информация о некой взрывоопасной рукописи, появившейся в Петербурге. А ФСБ до сих пор не обладала какой-либо конкретной информацией о рукописи. Известны были только некоторые отрывки, сами по себе не представляющие какой-либо угрозы национальной безопасности. С другой стороны, если даже в ЦРУ обеспокоены, значит, что-то там действительно опасное есть.

Есть там какая-то скрытая информация, та самая «сверхзадача», над которой всю свою жизнь бьются эти «творцы», которых Пакушев недолюбливал за неконкретность и вечные профессиональные интриги. Предполагалось, что автором рукописи был некто Каликин. Личность сама по себе довольно любопытная — одно время, ещё в бытность КГБ, этого Каликина хотели даже использовать в одной из операций за рубежом в качестве агента, но потом необходимость отпала, и его оставили в покое. Не то, чтоб он не внушал доверия, а просто необходимости такой не было.

Агентов, слава Богу, и без Каликина хватало.

Не увеличивать же штат до беспредела. К тому же писатели народ своенравный, с ними работать нелегко — всегда чего-нибудь да выкинут. Известно было, что писал стихи, а его двустиише

Над странною смерч прошёл,
А Черненко не нашёл...

хоть и запомнилось сравнительно молодому тогда Пакушеву и даже попало в агентурные сводки застойных лет, прожило недолго, потому что и Черненко сам правил недолго.

А потом такой смерч объявился, который многих нашёл, да и до сих пор находит — будь он неладен. И название у этого смерча — «Горби и его преемники». Не то чтобы Пакушев тосковал по застойным временам, но всё же, надо признать, порядка тогда больше было. И тогда тоже, конечно, рукописи неожиданные возникали, но, по крайней мере, в КГБ о них раньше, чем в ЦРУ узнавали. «Да все испортилось, и даже наша система стала работать хуже», — недовольно подумал он и поехал на службу в плохом настроении. Подчинённые сразу почувствовали, что сегодня будет жаркий денёк, как только Пакушев появился в своем кабинете и созвал их на совещание. Нет, он

не кричал на них, а только сообщил о разговоре с президентом и о той информации, которая поступила из ЦРУ...

После насыщенного разговора он саркастически взглянул на потные лица своих многочисленных помощников и коротко сказал:

— За работу, коллеги, и чтобы к вечеру рукопись или её достоверный список в любом виде были у меня на столе!

Подчинённые выскочили из кабинета, как из парилки, и помчались давать указания по всем своим каналам.

К вечеру у Пакушева на столе лежало всё, что было опубликовано Каликиным в его по нынешним временам долгой жизни, но... искомой рукописи среди довольно обширного литературного и научного наследия Каликина не оказалось. «Ну, просто, как с рукописью “Тихого Дона”», — недовольно буркнул Пакушев.

Так там хоть псевдорукопись нашли, переписанную самим Шолоховым вместе с супругой, заплатив за эту подделку пятьдесят тысяч долларов, а тут и вообще концы в воду. Ну, что у нас за страна такая, всё великое в тайне и молчании делают, а потом глядь — и, как черт из табакерки, казачок молодой полуграмотный великий роман в редакцию тарапит.

«Здравствуйте, дяденьки, я тут эпопею накропал, почитайте, может, согдится». И читают, и недоумевают. И деваться некуда. А за казачком этим сидит какой-нибудь Серафимович и над глупым начальством литературным (и не только литературным!) посмеивается:

— Наш, — говорит, — казачок, куда скакнул! Покажите другого такого... Нету!

Устал я на этом посту, уйти бы совсем, в писатели податься, так ведь не отпустят, слишком много знаю, слишком во многое влез.

Не отпустят друзья. Ну, а Каликин этот, ну куда лезет, с кем бодаться собирается. Опять с дубом — как Солженицын. Тот вроде уже набодался, по свету намотался, сыновей своих в иностранцев превратил, забывших русский язык. И чего добился? Лучше стало народу жить? Хуже.

Хуже стал жить народ, уж я-то знаю, сам родом из деревни. Я там бываю и всё вижу. А что сделаешь? Рынок он своё диктует — слабый гибнет, сильный выплывает. Так-то вот, а не иначе. А вы как думали?

Вот и ешьте его с маслом, запивайте кока-колой! Вы же его хотели. Получите. Чего ещё изволите, мужички-богоссы?

Эх, мать их за ногу, ну что у нас за страна?!

А поеду-ка я завтра с президентом на рыбалку. Вот созвонюсь и съездим вместе, как в старые добрые времена.

Незаметно от приятных воспоминаний настроение улучшилось, и Пакушев погрузился в изучение собранных сведений и творений Каликина.

Объективная характеристика, представленная аналитическим отделом ФСБ гласила:

«Каликин Иван Михайлович, 1950 года рождения, по национальности русский, из крестьян. Образование высшее, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, член Союза писателей России, принят по секции поэзии, женат, имеет семерых детей.

По политическим убеждениям, судя по ряду высказываний, тяготеет к монархизму. Состоял в КПСС до 1990 года, но активной деятельностью по пропаганде марксистско-ленинского учения не занимался. В 1970-х годах был замечен в контактах с диссидентскими элементами, посещал литературное объединение Глеба Семенова “Нарвская застава”, короткое время был старостой этого объединения.

Во время событий 1991 года был на Дворцовой площади и выступал против ГКЧП. Затем от активной политической деятельности устранился, не раз высказывался в кругу знакомых и друзей, что народ в очередной раз обманули»...

Дальше следовали несущественные подробности, которые ничего не прибавляли к портрету Каликина, и Пакушев отложил «объективку» в сторону.

Повертев в руках две поэтические книжки, изданные Каликиным в 90-е годы, он отметил их вполне профессиональное качество и понял, что Каликин был принят в СП России не по знакомству. Ничего криминального в них он не нашёл, кроме разве плохо скрываемого раздражения в отношении к властям. Ну, так это ещё не криминал, да и кто в России сейчас так уж любит власть. И когда её любили? Разве что боялись. И правильно. Власть и надо бояться, а иначе анархия будет, беспредел, Чечня бесконечная.

А что до раздражения, так это ведь и снять давно могли бы, надо было по службе повысить, премию какую-нибудь литературную устроить. Вот и получили бы другой продукт.

И когда только мои олухи работать научатся? Учишь их, учишь, за границы на стажировки посылаешь, инструктируешь, а результата всё нет.

Так кто же ты всё же есть, Каликин, и с чем тебя едят?

Пакушев был недоволен тем, что рукопись так и не была найдена. Но с другой стороны это его несколько успокоило. Может, вообще все это — дезинформация со стороны ЦРУ. Может, и нет рукописи никакой, а те отрывки, что у ФСБ уже давно имеются, не Каликин вовсе и написал. Они, конечно, впечатляют и сильно воздействуют на психику, но, опять же, никакой опасности для государства не представляют. Так — тургеневская проза, ну, может быть, бунинского уровня. Но не Достоевский.

Тот вот действительно писал. Его «Братья Карамазовы» — вот это книга, как её вообще решились переиздать в советское время? Что-то не досмотрели. А уж «Бесы» — вообще мина замедленного действия. Велик был Фёдор Михайлович, а власти-то его не очень жаловали. Побаивались даже. Ну, да Каликин-то — не Достоевский. И где их, достоевских, в наше время отыщешь. С нынешних времен довольно будет и Ахунина с Пельменевым., а то и Серякина. Съедят потребители и спасибо скажут.

Устал народ от рефлексии, ему конкретное чтиво подавай.

Пакушев встал и прошёлся по кабинету.

В просторном кабинете было прохладно, кондиционеры создавали любимую им для работы температуру — около 18 градусов по Цельсию.

Что же всё же делать в сложившейся ситуации? Президенту надо будет предлагать что-то конкретное. А нет ничего конкретного — так, одни слухи да домыслы. Закопана она у него эта рукопись где-то, как у Серафимовича подлинная рукопись «Тихого Дона». Поди, найди, не клещами же её у него вытаскивать. Да и можно бы клещами, если бы знать, что действительно такая есть. А вдруг всё это — блеф? Сиди тут в кабинете, ломай голову, а они там в ЦРУ посмеиваются — ещё одну головную боль этим русским прибавили.

Всё, хватит с меня. Утро вечера мудреней.

Пакушев вызвал машину и недовольный уехал к себе домой, где его встретила обеспокоенная супруга. Она всегда чувствовала настроение мужа.

Сегодня её «зайчик» (так она его называла) был на кого-то сердит.

* * *

Литературная Москва бурлила. Слух о том, что в Петербурге появился роман века, докатился и до нее. Председатель Союза писателей Гладышев и мэр Москвы Душков встретились в неофициальной обстановке. Ни того, ни другого складывающаяся на литературном фронте обстановка не устраивала. Да, они оба знали, конечно, что литературная столица России всегда была в Петербурге, с этим было трудно спорить, но ведь огромные деньги и в советское, и в постсоветское время были вложены в развитие литературы именно в столице, а не где-нибудь в других городах. И опять Петербург обошёл. Этого просто нельзя было допустить. Надо было что-то срочно предпринимать.

— Какими вы располагаете сведениями об этом романе? — нетерпеливо спросил Душков Гладышева сразу

после жарких объятий и восклицаний по поводу спортивной формы друг друга.

— В самых общих чертах это что-то вроде бунинской прозы, но, говорят, есть отдельные страницы уровня Льва Толстого и Достоевского, — болезненно выдохнул Гладышев, так и не сумевший в своей долгой жизни литературного функционера написать что-нибудь для вечности, а потому приходящий в состояние глухого раздражения при слухах о какой-нибудь очередной талантливой книге малоизвестного автора.

— И что, она действительно так опасна, что может поколебать устои общества? — опасливо спросил Душков и остро взглянул из-под своей неизменной кепочки-«кипы» в водянистые от природы глаза Гладышева.

— Ну, не так, конечно, как ваш любимый Шубайс, но всё же она может значительно обесценить творчество многих известных обществу писателей, и таким образом поколебать сложившееся в обществе статус-кво.

Душков знал, что Гладышев терпеть не мог Шубайса, он и сам его не жаловал, но сейчас не стал отвлекаться на выяснение отношений по поводу своего давнего соперника по прихватизации.

В конце концов, они не для этого встретились.

Оба они любили Москву, особенно теперь, когда удалось воплотить в жизнь давнюю мечту Душкова-строителя и очистить древнюю столицу от доисторического хлама старых застроек. Оба они гордились тем, как много для неё сделали, лишив матушку-Москву многовековой плесени, избавив от надоевших деревянных особнячков и утвердив новую архитектуру стекла, бетона и благородного металла.

Душков радовался тому, что новый губернатор Петербурга тоже предпринимает энергичные усилия по перестройке Петербурга. Общественность пока ещё не совсем понимает её, но ведь и против его строительства на первых порах возражали. А сейчас все довольны. Всем нравится, кроме некоторых ретроградов.

Должно быть, к одним из таких ретроградов принадлежал и автор этого скандального романа века. Раскольник, старообрядец какой-нибудь? Все-то они на Руси не переводятся.

— А автора знаете? — спросил Душков Гладышева без особой надежды услышать что-нибудь конкретное. Ему было известно, что кроме себя и своих ближайших друзей Гладышев ничего не читает. Однако, как ни странно, Гладышев кое-что успел об авторе разузнать.

— Так, один петербургский искусствовед Каликин, пописывающий в свободное от основной работы время стихи.

— И как же искусствовед смог написать роман века? — ехидно спросил Душков и иронически взглянул на Гладышева.

Тому не понравился этот взгляд, и он парировал.

— Так же, как рядовой строитель стал мэром столицы нашей родины.

Душков хохотнул.

— Ладно, не сердитесь, не хватало ещё, чтобы мы поссорились. Этого никак нельзя допустить. Мы с вами обречены дружить, как Россия с Украиной.

— Перейдём к делу, Георгий Михайлович. Надо что-то противопоставить петербургскому вызову.

— Я предлагаю вам выделить специальный грант для московских писателей на написание романа века.

— А если не напишут?

— Ну, если будет хороший грант, то напишут.

— А хороший — это сколько? — заинтересовался Душков, несколько повеселевший от уверенности Гладышева.

— Я думаю, роман века на пару миллионов долларов потянет, — изумившийся собственной скромности важно произнёс Гладышев.

— Что ж, престиж Москвы стоит таких денег, — мирно и сразу же согласился Душков, мгновенно оценивший выгоду сделки.

Не то чтобы он поверил Гладышеву, но, по крайней мере, мог теперь спать с чистой совестью — ведь им сделано всё для того, чтобы литературная Москва не ударила лицом в грязь перед литературным Санкт-Петербургом.

* * *

Придя домой, Гладышев первым делом стал обзванивать свою команду. Все они были писателями средней руки и больших надежд не внушали. Роман века никто из них не смог бы написать ни при каких условиях, хоть на Кипр их посылай, хоть в Переделкине дачу повышенной комфортности предлагай. Но у каждого из них могли быть литературные секретари и помощники, у которых в свою очередь тоже были свои околотитулярные знакомства, а в этой богемной среде иногда появлялись очень яркие таланты. Николаю Переславину он звонить не стал, хоть тот официально и входил в его команду, но иногда начинал не по сути выступать и фрондировать. «Недостойн он участвовать в таком деле», — решил Гладышев.

А, может, он просто испугался, что напишет Переславин за нормальные деньги роман века.

Во всяком случае, Переславин по своим каналам через богемную тусовку узнал обо всей этой истории и лишний раз убедился, что писательскую организацию возглавляет человек с «двойными стандартами». Его неприязнь к Гладышеву ещё больше усилилась, и он в озлобленном состоянии сел писать роман века. Не из-за денег, конечно, которых по слухам обещали отвалить аж пять миллионов баксов, а только для того, чтобы насолить начальству, утереть ему в очередной раз нос.

Там мы и оставим наших героев, чтобы возвратиться к Каликину.

ГЛАВА 3 ЛИТУРГИЯ

Иван Михайлович любил причащаться накануне Рождества — в Сочельник. Слава Богу, из больницы его на выходные отпустили. Вечером, прочитав каноны и последование ко причащению, он лёг спать пораньше, чем обычно, чтобы подняться вовремя и без нервной спешки отправиться к исповеди. Сон пришёл не сразу. Каликин долго ворочался, снова и снова перебирая все свои грехи, которые беспокоили его в последнее время...

«Год, конечно, был тяжёлый, полностью оправдавший своё название, — високосный. Откуда это поверье пошло, что високосный год обычно тяжёлый, он не знал, но давно заметил, что и действительно такие годы проходят не без тяжёлых испытаний — тут тебе и Беслан, и потоп в Таиланде, и отмена льгот почти для всех категорий граждан. Жёстко стелет новое правительство... А народ всё терпит. Вздыхает только. Ну, да что ему, народу, делать, не революцию же кровавую устраивать? Какой от них прок, от революций этих? Нет уж, хватит, пусть они все эти революции останутся в прошлом, в веке ушедшем. А нам надо обустроить Россию. Только вот с кем её обустроить? Народа то и не остаётся почти. Вон в деревнях русских никого уже и не найдёшь кроме пенсионеров. Без войны, тихой сапой народ выжили. А куда деревне деваться, когда её неперспективной объявили. Хочешь — не хочешь, а сдвинешься с места и уедешь в перспективную. Сначала деревню сделали неперспективной, потом маленькие городки, а теперь уже и всю Россию хотят неперспективной объявить. Каликину жалко было до слёз родную деревню, которая тихо хирела между Ладогой и Онегой, на берегу известной реки Ояти, той самой, на которой родился на свет Божий великий русский святой Александр Свирский...

Да, и все-то беды на Руси от перестройщиков. Прав, прав всё же великий Гёте, нет ничего страшнее деятельного невежества. Уж лучше Обломов, чем наши русские штольцы. Что за моду взяли, как только жизнь начинает у людей обустроиваться, так тут же сверху то реформу, то перестройку объявят, а то и перестрелку начнут...

Ох, уж эти комсомольцы — беспокойные сердца...

«Ну да ладно, что там об этом думать, о грехах своих сейчас плакать надо», — оборвал он свои мысли на злобу дня. Каликин давно уже понял старую истину, что без Бога — не до порога. Но в том была незадача, что порой подступали искушения и скорби, преодолеть которые, казалось, сил не хватит. Вот и теперь, он как раз находился в таком настроении. Всё как-то разладилось в его налаженной, как ему стало казаться, жизни. Появилась какая-то раздражительность на всё вокруг. А если ты раздражителен и гневлив, значит, ты уже не с Богом, не со Христом. В таком состоянии к рукописи приступать нельзя...

И это ещё больше выводило его из равновесия.

Печальные события последних дней и недель, конечно, сыграли свою роль в общем мировосприятии Каликина, но всё же не в них было дело.

Дело было в том, что он вдруг остро осознал собственную беспомощность, почувствовал вдруг какую-то усталость и нищету духа. Он ясно и отчетливо понял, что ничего не способен изменить в том течении жизни, которая шла не по тому сценарию, который рисовался в его воображении ещё каких-нибудь семь лет тому назад, когда казалось, что впереди ещё много свершений, много чего-то такого, что обязательно будет интересным и полезным. Теперь же впереди не оставалось почти ничего. Оставалось только дожить ту жизнь, которая ему выпала... Как говорится, осталось донести свои кости до погоста.

И конечно, надо было завершить роман.

Этот последний отрезок жизни его не то чтобы пугал, но по-настоящему тревожил. Он чувствовал, что над

его головой клубятся и сгущаются какие-то тучи. Кому-то очень не хочется, чтобы он завершил наконец дело его жизни и написал всё же многострадальный роман до конца, до точки последней. А если не завершит дело своё, то с чем предстанет он, Каликин, на Суд Божий? Не было в его жизни никаких особенных достоинств. Кто он такой по сравнению с тем же Пушкиным? Да никто, так — мелкая сошка, тоже писавшая стихи. Не богатырь духа, нет, не богатырь...

Немного успокаивало то обстоятельство, что и другие современные ему писатели и поэты в сравнении с Пушкиным тоже были пигмеями. Только волею судьбы да благодаря собственной пробивной силе и связям оказались они на том или ином месте в писательской иерархии, откуда поглядывают на своих сотоварищей с важным достоинством. Да, они обладали определёнными литературными способностями, но многие из них давно забыли о Том, Кто дал им эти способности. А кое-кто даже оборачивал эти способности во зло...

Построение царства Божия на земле, сколько талантов, сколько жизней человеческих принесено на этот ложный алтарь, сколько перьев сломано в попытках убедить человечество, что это возможно. И вот всё в очередной раз пошло прахом.

Разрушил Господь одним махом строительство вавилонской башни коммунизма — земного царства Божия.

Однако не переводятся спасители человечества, вновь и вновь предлагают себя, зовут к новым войнам и революциям во имя свободы и демократических ценностей.

А ведь всё просто. Не надо спасать человечество. Оно само о себе побеспокоится. Душу свою спасать надо — вот единственная и вечная ценность на этой земле.

Не будь тот же Ульянов-Ленин одержим идеей спасения пролетариата, не было бы и неисчислимых жертв русской революции. Стал бы он со временем хорошо оплачиваемым адвокатом, и была бы Россия замечательной

конституционной монархией, с таким уровнем развития в XXI веке, который трудно даже представить...

«Господи, спаси Россию», — горестно вздохнул Каликин на утренней молитве, прежде чем выйти из дома и направиться к исповеди в ближайший храм, где он обычно причащался. К духовному отцу он теперь ездил только по важным делам и с неразрешимыми вопросами, а регулярно причащаться ему было благословлено в этом храме. Раньше он чаще бывал у отца Василия, а теперь всё реже и реже — иногда, казалось, и спрашивать было не о чем. Все ведь давно ясно и понятно: неси свой крест со смирением и всем сердцем своим прилепляйся к Богу. А от духовника многого не требуй — он тоже человек. Отец Василий уже несколько лет как стал знаменитым батюшкой в Петербурге, и у него не было теперь времени уделять Каликину столько же внимания, как в начале их общения. Но Каликин вовсе не обижался на духовника, понимая всю непомерную занятость того. Толпы новых людей, недавно пришедших в церковь, в большинстве своём бывших коммунистов и комсомольцев, осаждали его старого духовника, и всем им надо было помочь, обогреть, наставить на путь истинный. А он, Каликин, слава Богу, давно уже понял, что нужно для спасения. Путь указан, наставления получены, только исполняй.

Только исполнять-то не всегда получается. Тут себя пожалел, там рассеянно помолился, здесь пост нарушил, и пошло-поехало...

Прости нас, Господи, унылых и вялых, ленивых и гордых, слабодушных и маловерных. Слаб человек, всякий человек слаб, а тот, который себя великим мнит, тот и велик-то до первого серьёзного искушения.

Измельчал народ. И не только писатели, а всё вообще. Куда сокрылись те богатыри, которыми всегда славилась земля русская? Где они — современные Ломоносовы, Державины, Суворовы, Пушкины, Чайковские и Репины? Нету их.

Вот тут и поймешь, когда остановишься, как вкопанный, перед этим вопросом, всю разницу между «кровавым царизмом» и развитым социализмом, или олигархическим капитализмом. «Кровавое самодержавие» оставило после себя великую империю, которую разрушили большевики во главе с «добрым дедушкой» Лениным. А что оставили после себя большевики-ленинцы? — Мавзолей.

На одной стороне, стало быть, Кремль с его соборами, весь Петербург с его великолепием, вся вообще лепота старинных русских весей и городов, а на другой — мавзолей и ГУЛАГ.

А по телевизору и в прессе до сих пор тычут народу «стольпинский галстук» и «кровавое воскресенье». А если посчитать, то жертв одного только выступления тамбовских крестьян под названием «антоновский мятеж», было много больше, чем всех жертв проклятого царизма...

Так что самодержавие на Руси самая что ни на есть народная форма правления и есть. При развитом социализме народ трудился на огромный партийный аппарат и зарубежных коммунистов. При нынешнем олигархическом капитализме и вообще — на вороватого дядю и коррумпированных депутатов. Разве стал бы русский государь покупать футбольный клуб в Англии, тратя на это народные (а какие ещё) деньги? Да нет, конечно. Александр III, когда возвращался из зарубежных вояжей, даже горячо любимую свою супругу Марию Федоровну обязывал платить таможенный сбор за всякую приобретенную за границей безделушку. А как же — ведь любой иностранный товар это недополученные деньги отечественных производителей, а значит, и недоплата налогов в бюджет России. Государь в силу своего особого положения хозяина земли русской просто вынужден неусыпно думать о народе и стране, поскольку спрос за всё с него. А временщики думают только о том, чтобы за время пребывания у кормила власти набить свои карманы так, чтобы и детям их хватило для безбедного существования. Такова

природа вещей, и ничего с этим не поделаешь. Стабильность и порядок, довольство и согласие всех сословий — основа сильной самодержавной власти, опора Богом установленному царскому строю. Временщикам, напротив, выгодна дестабилизация, ибо только так они могут получить мандат для укрепления личной власти, или — диктатуры. В России демократия в силу самой логики истории неминуемо трансформируется в диктатуру. Собственно вся история XX века — это только смена диктаторов. Вначале диктатура Ленина–Троцкого, затем — диктатура Сталина, позже Хрущёва и Брежнева, наконец Горбачёва и Ельцина. А красивые слова о гласности, свободе и демократии — это лишь слова для обманутого и зомбированного народа. Сами по себе диктаторы — разные люди, кто-то из них может быть даже симпатичен, но это не изменяет существа их антинародной власти. Диктатор не заинтересован в предоставлении народу прав и свобод. Народ для него всего только масса, которой он хочет манипулировать по собственному усмотрению. Русские цари даровали народу свободы. Русские революционеры их отнимали. Так Александр II отменил крепостное право, а Сталин лишил колхозников земли и паспортов, по существу заставив крестьян работать на социалистическое государство бесплатно — за так называемые трудодни. Нет, не был Сталин царем, он был диктатором до мозга костей, заботившимся лишь об усилении личной власти. Народ же он рассматривал только как тягловую силу, которая нужна была для достижения целей, поставленных партией. Со временем он и стал той самой партией, от имени которой любил выступать, то есть произошло раздвоение личности кровавого диктатора. Ясно, что всё это должно было однажды рухнуть, ибо Господь не терпит пролития невинной крови. А сколько невинной крови было пролито в России в XX веке — невозможно сосчитать.

Теперь России снова предстоит вершить великий труд государственного строительства, снова русский народ

вынужден будет с великой верой, молитвой и терпением совершать то, к чему призван Богом, — объединять разрозненные племена и малые народности великого всерусского пространства в единую и дружную семью, в Империю Любви.

Что же и кто же может объединить их всех? Либеральные ценности?

А что это такое? Набор слов и не более того.

Единственной и безусловной ценностью для человека является право на достойную жизнь. Разве сейчас, после двадцати лет приоритета либеральных ценностей, у нас достойная жизнь? Спросите об этом у бомжа, или безработного, студента или профессора, не берущего взятку за поступление, у крестьянина, не имеющего средств для того, чтобы вспахать свой огород.

Каликин вдруг вспомнил 19 августа 1991 года. В этот день был один из любимых им двенадцатых праздников православной церкви — Преображение Господне. С утра он был в храме на ранней литургии. Необычным в то утро было то, что в храме вдруг запахло мертвой крысой, чего раньше никогда не было.

«Наверное, такой же запах в мавзолее», — почему-то подумал он тогда.

Придя на работу в музей, Каликин узнал о том, что в Москве объявлено чрезвычайное положение. Все общественно активные коллеги направились к Мариинскому дворцу.

В те три дня Великого Катаклизма совершилось так много, были приведены в действие такие силы, средства и механизмы, о которых ещё и до сих пор далеко не всё известно.

Итогом стало окончательное крушение коммунистической системы, хотя, по сути, она надломилась уже давно, ещё во время Второй мировой войны, когда Сталин был вынужден обратиться к народу с необычным для правого коммуниста обращением: «Братья и сестры!».

Вспомнил диктатор вдруг свои семинарские годы, когда жареным запахло, а также вспомнил и полководцев русских — Александра Невского, Суворова, Кутузова.

Все они, эти диктаторы — временщики, когда жареным запахнет, вспоминают вдруг о тех братьях и сестрах, о тех русских святых, которых они ещё совсем недавно ни во что не ставили, а то и откровенно издевались, как издевались коммунисты над православной церковью и русским народом в 20–30-е годы. Ну, вот и наслал на них Господь нашествие фашистское. А не будь его, не вспомнил бы диктатор о братьях и сестрах...

Не вспомнил бы.

После войны кто-то ещё продолжал жить светлыми идеями Маркса–Ленина–Сталина, но их, идейных, было уже много меньше. А Каликин, как и весь народ в большинстве своём, жил ради чуда дарованной ему жизни. И эту жизнь даровало не социалистическое государство, не Ленин и не Сталин, не добрый дядя Никита Сергеевич и даже не только родители. Ведь был Некто, Кто устроил все таким образом, чтобы родители его встретились, полюбили друг друга, чтобы он не умер от скарлатины в раннем детстве.

И этот Некто был Бог.

И вот с Ним-то и боролись коммунисты все годы советской власти.

Ну, что ж, за что боролись, на то и напоролись. Отвернулся от них Господь, и остались они ни с чем.

А он, Каликин, идёт на встречу с рождающимся Господом.

Сегодня, кажется, вся Вселенная застыла в ожидании совершающегося чуда. Ещё немного и появится Богомладенец, начнется новый этап человеческой истории.

О, как велик и славен этот миг! Может ли хоть какой-нибудь человеческий разум вместить всю глубину и всю грандиозность происходящего события.

Земная дева, рождающая Предвечного Бога и одновременно с этим человека, — как постичь подобное?

Вряд ли это под силу кому-нибудь, будь он хоть семи пядей во лбу.

Человек может лишь застыть в удивлении и воспеть вслед за ангелами: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!»

И вот этой радости, этой благодати коммунисты хотели лишить людей, заменив дивные песнопения и молитвы слоганами типа: «Слава КПСС» и прочими недоразумениями.

Вырождение науки, наркомания, проституция, запустение деревень, криминализация городов — вот итог либерально-большевистских реформ и революций в России.

Страшный итог XX столетия.

Понимает ли государственная власть современной России, как выходить из создавшегося положения?

Хотелось бы, чтобы такое понимание было.

Иначе снова социальные настроения, волнения народные, война всех против всех...

Пусть, наконец, возобладает соборный разум народа, а не животный инстинкт толпы, готовой крушить и убивать любого и каждого, на кого укажут режиссёры, всегда присутствующие за тем или иным якобы стихийным выступлением населения.

Не он один спешил во храм. Явно туда же направлялась старушка, идущая перед ним. Приглядевшись, Каликин узнал свою старую знакомую, которой был представлен ещё более двадцати лет тому назад. Они тепло поприветствовали друг друга, но дальше пути их разошлись. Старушка шла тихо, а кроме того явно хотела побыть одна перед исповедью. Каликин думал об этом же. Он вообще не любил ходить в храм толпой. Раньше, когда дети были маленькими, в этом была необходимость и глубокий смысл, но теперь, когда они подросли, он предоставил им свободу выбора — не хотят, пусть не ходят, а невольник — не богомольник. Он знал немало православных семей, где из-за слишком жёсткой опеки родителей дети выросли

атеистами. Конечно, совсем без опеки вырастут ещё и боготорцами...

Так что во всём нужна мера.

Правило, которому он следовал в жизни, было простым: личным примером, словом и делом показать ребёнку красоту и истинность православной веры. А дальше, уж как Бог даст, все — в руке Божьей.

Непросто в современном мире воспитать ребёнка верующим. Слишком много искушений, слишком много лжи и козней дьявольских...

Чего стоит один только 25-й кадр! Нельзя не заметить его разрушительного воздействия на рассудок современного человека.

Хорошо ещё, что есть пока возможность пойти в храм, исповедаться и причаститься, пообщаться с Богочеловеком. Какое это великое благо!

А вдруг наступят другие времена?

Почему бы им и не наступить. Ведь по грехам человеческим Господь в 1917 году попустил рухнуть самодержавной монархии в России.

А много ли нынче святых, ради которых Господь пока ещё сдерживает бедствия? Бог весть...

Народа в храме было много. В сочельник многие пришли исповедаться и причаститься. Было даже несколько иностранцев, которых привела расторопная экскурсовод, что-то бойко объясняющая своим подопечным на неплохом английском.

«Как всё же талантлив русский народ, быстро и легко осваивает язык наиболее вероятного противника, — невесело усмехнулся Каликин, с интересом взирая на несколько скованных от обилия икон и незнакомой им атмосферы храма иностранцев. — Что они хотят найти здесь, в России? Дай Бог, чтобы — Истину. Дай Бог, чтобы нашли они то светлое, что давно уже нашел Каликин, повидавший в этой жизни немало. Дай, Боже, чтобы ощутили они Твою благодать», — мысленно помолился он за незнакомых ему туристов.

Ведь если будет изобиловать благодать в мире, не будет новых Хиросимы и Катыни, не будет освенцимов и бесланов, не будет гибели невинных москвичей и чеченцев, иракцев и американцев. Где благодать божественной Любви, там нет места пороку, там нет места ничему такому, что унижает человеческое достоинство, что распинаят человека в человеке...

Исповедников было много, и батюшка, чтобы ускорить исповедь, стал перечислять наиболее распространенные грехи, прося каждого раскаяться в тех, которые отягощают совесть. Толпа исповедников быстро таяла, постоянные прихожане понимали, что в конце поста нельзя уже обременять иерея чрезмерными подробностями своей духовной жизни. Для этого было сорок дней, в каждый из которых можно было найти время, чтобы искренне и подробно покаяться во всех своих прегрешениях. Склонив голову под епитрахиль священника, Каликин слёзно молил Господа о прощении его прегрешений.

Батюшка прочёл разрешительную молитву и благословил покаявшегося грешника к причастию.

Много раз в своей теперь уже долгой жизни Каликин переживал это таинство и всегда чувствовал особое состояние души в тот момент, как священник после исповеди благословлял его и допускал к причастию.

Настоятель торжественно вынес чашу и произнес молитву ко причащению. Вначале прихожане начали было напирать и толкаться, но опытный священник быстро умирил паству, строго напомнив о том особом дне, в который все они сподобились причащения. Порядок быстро установился, и все стали чинно и благообразно подходить к Чаше, громко называя свои имена.

— Причащается раб Божий Иоанн во оставление грехов его и в жизнь вечную, — со значительностью в голосе произнёс настоятель, и Каликин с умиленным и умиротворённым духом принял святую кровь и тело Спасителя, а затем приложился устами к основанию Чаши.

Волна благодати и благодарности ко Творцу наполнила его сердце.

Бог — Творец соединился с человеком в этом таинстве. Что подобно этому чуду?

Как жаль, что многие люди никогда в своей жизни не причащались.

Бедные люди, как помочь им? Ведь каждый день приближает их в вечной гибели.

А причастившиеся приближаются к жизни вечной.

Каликину хотелось поделиться духовной радостью со всеми и с каждым, но за оградой храма была совсем другая жизнь.

Трудно неверующим понять, отчего он так радуется.

Каликин возвращался из храма домой примирённый со всеми своими врагами и обидчиками, желая всем им только одного: найти то счастье в жизни, которое ему удалось отыскать в православном храме.

Он шёл и негромко пел рождественские тропари, прославляющие Богородицу и Богомладенца.

И, казалось, не будет конца этой дороге.

ГЛАВА 4 ПАКУШЕВ И ДЭН БРАУН

Пакушев поцеловал и успокоил супругу, выпил с ней саке и отправился в свой кабинет, чтобы подробнее познакомиться с одной из книг Каликина, которая называлась «Леонардо да Винчи или богословие в красках». Выпущена в мир она была в 2000 году в Санкт-Петербурге. Первая глава этой книги была посвящена знаменитому произведению Леонардо — портрету «Моны Лизы», находящемуся в Лувре. Он стал читать её со всё возрастающим вниманием. Читателю, как полагает автор, будет небезынтересно узнать, о чем же писал Каликин в этой главе, которую предварял любопытный эпиграф, взятый из записок самого Леонардо. Только поэтому мы дерзнём привести эту главу, а также следующую за ней в качестве документального примера искусствоведческой деятельности Каликина.

МОНА ЛИЗА (ДЖОКОНДА)

Разве не видим мы, как могущественные цари Востока выступают в покрывалах и закрытые, думая, что слава их уменьшится от оглашения и присутствия? Разве не видим мы, что картины, изображающие божества, постоянно держатся сокровыми под покрывалами величайшей ценности.

Леонардо да Винчи

В истории мировой живописи нет более загадочного произведения, чем «Джоконда» Леонардо да Винчи. С легкой руки Джорджо Вазари это выдающееся произведение вошло в историю искусства как «Портрет Моны Лизы» — супруги богатого и влиятельного флорентийца Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джокондо. Однако в настоящее время почти ни у кого не остаётся сомнений

в том, что на знаменитой луврской картине изображено не то лицо, о котором говорит в своем труде Вазари.

«Мона Лиза ди Антонио Мария ди Нольдо Герардини, отпрыск одного из старейших флорентинских родов, родилась во Флоренции в 1479 году и в 1495 году вышла замуж за флорентинца же, богача и политического деятеля, на 19 лет старше её и уже дважды овдовевшего, Пьеро Франческо Джокондо», — писал Джованни Поджи.¹

Некоторые авторитетные искусствоведы придерживались несколько другой версии. Макс Дворжак, обращаясь к этому шедевру Леонардо, утверждал: «Здесь изображена молодая неополитанка, жена знатного флорентийского горожанина Франческо дель Джокондо; об её жизни и дальнейшей судьбе ничего более неизвестно».²

О таинственной, почти магической силе «Моны Лизы» написано много. Уже упомянутый выше Макс Дворжак так высказался об этом: «Слава портрета основывается на его одухотворённости. В нём видели изображение женщины, чья пленительная улыбка одновременно привлекала и отталкивала, обнажала непостижимые бездны женской души, вызывала сравнение с кошкой, казалась принадлежавшей отравительнице, и в то же время воздействовала вкрадчиво нежно и околдовывающе — словом целые романы были построены на этой улыбке. Но это — фантазии журналистов: Леонардо был далёк от психопатологии. Прежде всего мы вообще должны задать вопрос: насколько здесь развито психологическое проявление индивидуального характера. При передаче *физического* облика явное отступление от индивидуального сходства совершается во имя приближения к некоему общему типу, который предстаёт перед нами во всех женских персонажах у Леонардо».³

¹ Poggi. Leonardo da Vinci... Firenze. 1919. P. 35.

² Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1979. С. 161.

³ Дворжак М. Указ. соч. С. 161.

При том что одни исследователи считают Мону Лизу уроженкой Флоренции, другие — неаполитанкой, все сходятся во мнении, что к моменту создания портрета она должна была быть ещё молодой женщиной. Однако в произведении гения из Винчи (собственно из Анкиано близ Винчи) изображена отнюдь не молодая женщина, а скорее женщина зрелых лет, да к тому же ещё и в «темных вдовьих одеждах» — по меткому наблюдению ряда специалистов.

Попытки «разгадать загадку» этого таинственного произведения флорентийского мастера предпринимались неоднократно. В последние годы интерес к «Джоконде» не только не ослабевает, но даже усиливается. Возникают и быстро гаснут всевозможные гипотезы, не находя подтверждения в самом творении мастера, которое остаётся беспристрастным судьёй всех выдвинутых концепций. Признав, что в «портрете» Моны Лизы изображено некое другое лицо, возникает вопрос: кого же написал Леонардо в этом странном и, без сомнения, самом знаменитом своём шедевре?

Мнения на этот счет существуют различные. Так, ряд искусствоведов вслед за Копье (A. G. Coppier) предлагает считать эту работу портретом Пачифики Брандано — любовницы небезызвестного Джулиано Медичи. Однако эта гипотеза представляется малоубедительной. Её авторы так и не смогли объяснить ни наличие тёмных вдовьих одежд, ни «космический пейзаж», на фоне которого изображена Мона Лиза. Ещё менее данная гипотеза выдерживает критику и по самому характеру и темпераменту изображённой, поскольку прекрасная незнакомка Леонардо вовсе не похожа на женщину лёгкого поведения.

Среди интересных наблюдений-попыток объяснить ряд странностей «Джоконды» нельзя не упомянуть гипотезу врача Кеннета Килия, отметившую некоторую «широковатость» Моны Лизы и объяснившего её беременностью изображённой. Широкою известностью получила гипотеза, утверждавшая, что в «Моне Лизе» мы имеем дело с автопортретом мастера. Однако, как выглядел Леонардо

и какого он был пола хорошо известно, поэтому к последней гипотезе нельзя не отнестись критически.

Выход из тупика, в который, на наш взгляд, завёл всех исследователей «Джоконды» Джорджо Вазари, всё-таки, есть. Главная «тайна» этой картины заключается в том, что так называемый портрет Моны Лизы — вообще не портрет. Это выдающееся произведение до сих пор стоит не в том ряду, числится не по тому жанру, к которому оно в действительности принадлежит. Магия впервые напечатанного слова оказалось столь сильна, что под его власть попали самые пронизательные и глубокие умы. Важно подчеркнуть при этом, что многие специалисты отмечали определённые несоответствия и явные странности в картине, казавшиеся вопиющими для такого великого мастера, каким является Леонардо. Так Вельфлин обращал внимание на то, что пейзажу свойственна иная степень реальности, чем фигуре (с этим, правда, можно поспорить). Дворжак тонко подметил, что «Леонардо использует то же композиционное средство, что и Ян ван Эйк в “Мадонне канцлера Роллена”»: он располагает фигуру на высокой террасе. Благодаря этому не происходит нарушения перспективы, ландшафт создаёт нейтральный фон, одновременно являющийся отрезком неограниченного бесконечного пространства».¹ Отмечались и некоторые другие странности, вкуче составляющие неразрешимую загадку картины.

Совсем близки, как нам представляется, к разгадке «тайны» «Моны Лизы» находились художники-карикатуристы, на все лады перекраивавшие этот шедевр. Как только ни изображали прекрасную незнакомку! Весьма важно отметить, что особенно запоминаются те картины-карикатуры, где Джоконда превращена в мужчину. Авторы подобных карикатур, как мы полагаем, стояли на пороге открытия «тайны» Леонардо, мы же воспользуемся их наблюдением в качестве ключа к этому выдающемуся произведению итальянского гения.

¹ *Kennet D. Keel. The Genesis of Mona Lisa. 1959.*

Художники со свойственной им интуицией, разумеется, не случайно изображали Мону Лизу с усами и бородой — в этом своего рода ключевом произведении художника при ближайшем рассмотрении действительно есть не только женское, но и *мужское* начало. Однако, как *женское*, так и *мужское* в этой картине-иконе относятся при объективном подходе не человеческому смертному, а к *вечному* и *бессмертному*, то есть к *божественному* началу.

В луврском шедевре Леонардо совместил два основополагающих образа всей средневековой культуры, равно как и культуры Возрождения — а именно: образ Мадонны и образ Христа.

Разделим условно «Джоконду» на две равные части, проведя вертикаль ровно посередине фигуры Моны Лизы. Перед нами — два разных образа. В правой части картины мы видим выступающую ровно наполовину фигуру Христа, спокойно и величественно восседающего на престоле в знакомых по огромному числу религиозных композиций царственных одеждах.

В том, что перед нами здесь именно *мужское* начало, убеждают многие детали. Высокий мужской лоб с характерным надбровным бугром (таким же, как в этюдах кричащего всадника для «Битвы при Ангиари» и ряде других «мужских» образов Леонардо), мужской подбородок, волосы, ниспадающие так, как они ниспадали у Христа «Тайной вечери». У ангелов и апостолов Леонардо находим близкие, подчас идентичные пряди. И дело не ограничивается похожестью деталей. Оказывается, что вся композиция насыщена глубокой символикой. За спиной Христа мы видим изображение гор и реки, через которую перекинут мост. Символика горы достаточно очевидна и однозначно связана с понятием высшего, небесного («Горе имеем сердца» — литургический возглас — может быть тут ярким примером). Нельзя отрицать, что Леонардо знал распространённый в его время эпитет Христа: «река жизни».

Что касается моста, то его символика чрезвычайно многопланова и с этим мотивом органично увязаны оба образа: Христа и Марии. Важную смысловую нагрузку несёт благословляющий знак пальцев правой руки, хорошо знакомый по множеству композиций, изображающих Христа за пасхальным столом.

Рентген «Джоконды» подтверждает то, о чём можно судить и не прибегая к услугам технической проверки. Лик Христа на рентгене «Моны Лизы» проступает вполне отчетливо, позволяя при этом проследить развитие замысла Леонардо. Мастер начал с типа Христа близкого тому, который можно видеть на рисунке, хранящемся в Милане (Брера, 400×320), а также к Христу «Тайной вечери». Однако этот тип его не удовлетворил. В окончательном варианте перед нами Христос, в облике которого привычный для Леонардо идеал мужской красоты — подобный идеальный тип можно видеть в лице апостолов Филиппа, Иакова, Иоанна («Тайная вечеря»), и в других произведениях мастера.

Левая часть «Джоконды» разительно отличается от правой. Если Христос изображён на фоне величественного конструктивно строгого пейзажа, то Мадонна (а в том, что это она, при ближайшем рассмотрении сомнений не возникает) изображена на фоне более мягкого, другого по характеру пейзажа. Тип Мадонны в «Джоконде» очень близок знакомому всем типу леонардовских мадонн, а также и — шире — общему пониманию образа Марии в искусстве Италии рассматриваемого периода. Наиболее близкой аналогией может служить образ Марии из луврской картины, где Мария изображена со святой Анной («Святая Анна», 170×129). Заметим, что само по себе подобное соединение «мужского» и «женского» не несёт в себе ничего из ряда вон выходящего. Можно вспомнить о традиции изображения различных аллегорий, когда в одной фигуре объединялись разнополюсы сущности. В итальянском искусстве эта традиция имела очень широкое распространение (достаточно указать на известную «Аллегорию

Благоразумия»¹).¹ В подобном соединении для самого Леонардо нет ничего необычного — можно утверждать, что к подобному «эксперименту» ведёт вся логика развития его творческого гения. На столкновении и органичном соединении противоположных начал во многом строится его творчество. Конкретным примером может служить центральная фигура из рисунка «Аллегория правления Моро» (20,5×28,5, Оксфорд, Университетская галерея).

Остаётся решить, *какую* же аллегория создают органично соединённые образы Марии и Христа? На наш взгляд, такой аллегорией может быть лишь одна — аллегория Христианской церкви. Логика здесь проста — как нынче, так и во времена Леонардо Мария олицетворяет собой Церковь Земную, а Христос — Небесную. Соединённые вместе эти образы по мысли художника должны создать всю всеобъемлющую полноту Христианской церкви.

Предложенное здесь истолкование идейного замысла загадочного образа «Джоконды» снимает те неразрешимые вопросы, которые возникали у исследователей при детальном анализе картины. Наконец-то появляется возможность разрешить кажущиеся неразрешимыми «противоречия» картины. Становится понятен «тёмный вдовый наряд», странно соединяющийся с платьем царственно-пурпурного цвета. Противоречие оказывается кажущимся — ведь Христианская церковь по определению — и скорбящая (на земле) и царствующая (на небе). Соединение двух фигур в одну объясняет и ту «широковатость», о которой писал Кеннет Кил. Особое значение принимает орнаментальная вышивка на платье Моны Лизы — с изображением *креста*.

После всего вышесказанного ещё раз внимательно посмотрим на «Джоконду», забыв о том, что мы читали во множестве так называемых популярных изданий. Оказывается, «Мона Лиза» изображена в таких же облачениях,

¹ *Kennet D. Keel. The Genesis of Mona Lisa. 1959.*

в которых Леонардо изображал Христа, Богородицу, святую Анну и других святых лиц. Нельзя не заметить, что картина вообще не портретна по своему «духу и букве». Во всех достоверных портретах Леонардо мы имеем возможность видеть, как этот флорентийский гений понимал жанр портрета, полагать, что в «Джоконде» он случайно забыл о его особенностях, по меньшей мере, нелепо. Чтобы отбросить элемент «случайности» в произведениях этого мастера, достаточно вспомнить об основополагающем принципе творчества Леонардо да Винчи, которому художник следовал на протяжении всей своей жизни: «Делай так, чтобы произведение твоё соответствовало цели и намерению, то есть, когда ты делаешь свою фигуру, чтобы ты хорошенько подумал, что она *такое...*».¹

После таких слов художника новое «звучание» приобретает кисть правой руки «Джоконды», в которой любой, хоть немного знакомый с христианской религией, человек не может не прочесть основные догматы, на которых стоит многовековое здание Церкви Христовой. Первые три пальца правой руки «незнакомки» художник изобразил прямыми, а два из пяти — слегка согнуты. Перед нами программа христианской веры: Бог — Троица, Христос и Бог и человек одновременно. Как тут не вспомнить ещё одно знаменитое изречение мастера: «Душа должна быть выражена через жесты и движения конечностей».

В том, насколько подобное соединение «противоположных» начал в духе Леонардо убеждает и нижеследующее утверждение художника: «Я говорю также, что в исторических сюжетах следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим, и тем больше, чем они будут ближе, то есть безобразный по соседству с прекрасным, большой с малым, старый с молодым, сильный со слабым, и так следует разнообразить, насколько это только возможно и как можно

¹ Дворжак М. История итальянского искусства ... С. 163.

ближе одно от другого».¹ Так мы имеем возможность видеть, в «Джоконде» Леонардо буквально следует провозглашённому им принципу. Впрочем, и в других своих композициях он применяет этот же метод, заявляя при этом: «Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение; тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения которого превзойдены суждением».²

Закономерен вопрос: почему же Леонардо не открыл современникам идейного содержания «Джоконды». Ничего удивительного в этом нет, если вспомнить все перипетии жизни и творчества мастера, обстановку, в которой ему приходилось творить, и вообще его любовь к *тайне*. Исходя из многих соображений, мастер, как известно, зашифровывал свои записи, тем более — идейные программы своих произведений, содержание которых посвящал Богу в большей степени, чем человеку. И его горькое замечание по этому поводу многое может объяснить: «Великие труды вознаграждаются голодом и жаждой, тяготами и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями».³

Ясно, что всё вышесказанное о «Джоконде» обязывает по-новому взглянуть и на знаменитое «сфумато», которое до сих пор истолковывали только как некую световоздушную среду, обволакивающую фигуры в работах Леонардо. На наш взгляд, принцип «сфумато» значительно более глубокое открытие мастера, относящееся не столько к технической стороне его творчества, сколько к *методологической* его природе, и заключается он в гениальном умении мастера органично смешивать и рассеивать друг в друге противоположные начала. В «Джоконде» мы имеем дело с ярким примером высшего, наиболее полного сфумато — происходит рассеивание и смешивание образа Марии в образе Иисуса Христа и наоборот — взаимное перетекание

¹ *Леонардо да Винчи*. Тракта́т о живописи.

² Там же.

³ Там же.

одного образа в другой, своеобразная *игра* (итальянское «джоконда» — значит «играющая») двух мировых начал: земного и небесного, слабого и сильного, мужского и женского.

Предложенное прочтение сюжета «Джоконды» снимает вопросы и недоумения, возникающие при детальном анализе картины. Становится понятным странное облачение «Моны Лизы», ведь церковь, скорбящая на земле и торжествующая на небе, должна быть облечена в такие «двойственные» одежды. Особую значимость в свете всего сказанного приобретает следующее высказывание мастера:

Поэт говорит, что он описывает один предмет, представляющий собой другой, полный прекрасных сентенций. Живописец говорит, что и он волен делать то же самое, и что в этом также и он поэт...

И живописец настолько больше поэта поражает разум людей, что заставляет их любить и влюбляться в картину, *неизображающую* вообще никакой *живой женщины* (курсив мой. — М. А.). Мне самому в своё время случилось написать картину, представляющую нечто божественное; её купил влюбленный в нее и хотел лишить её божественного вида, чтобы быть в состоянии целовать её без опасения. В конце концов совесть победила вздохи и сладострастие, но ему пришлось удалить её из своего дома.¹

Не просматривается ли в этом признании автора известная история с Джулиано Медичи, который вначале приобрел картину у Леонардо, а затем вернул её мастеру. И даже если речь здесь идёт не о «Джоконде», нельзя отрицать того факта, что Леонардо писал «нечто божественное», что не было изображением *живой* женщины, но принималось за таковую. Мы, впрочем, не располагаем какими-либо сведениями о какой-то другой картине, которая бы как «Джоконда» отвечала приведённым словам великого художника.

¹ Леонардо да Винчи. Книга о живописи Леонардо да Винчи. М., 1934. С. 95.

После всего, что мы только что сказали об идейном содержании «Джоконды», удивительное звучание приобретают другие луврские шедевры Леонардо. Один из них — «Святая Анна, Мадонна и младенец с агнцем», неразрывно связанная с «Джокондой» тем, что и здесь художник обращается к той же аллегории, но находит другое более традиционное решение (Святая Анна символизирует ветхозаветную церковь, Мария является мостом, соединяющим Ветхий завет с Новым, а Младенец-агнец здесь, несомненно, символизирует Новый завет). Но наиболее тесно связана с «Джокондой», как думается, даже не этот луврский шедевр, а известная в многочисленных вариантах «Донна Нуда».

ГЛАВА 2 ДОННА НУДА

Прием, а точнее метод, примененный Леонардо в «Джоконде» находим и в ряде других произведений мастера. Прежде всего наше внимание должна привлечь в русле предложенной концепции «Обнаженная Джоконда» — она же «Донна Нуда» (X., м. Переведена с дерева, 85,5×68,0) — картина, известная в нескольких вариантах, один из которых находится в собрании Государственного Эрмитажа. История этой картины загадочна. Ясно, что она неразрывно связана с «Джокондой». В каталоге Государственного Эрмитажа (1976 г.) она была опубликована как работа Салаино (Джан Джакомо де Капротти). В «легенде» о ней находим следующее утверждение: «Написана в подражание “Моне Лизе” Леонардо да Винчи. Известна под названиями “La Belle Gabrielle”, “Мона Ванна”, “Донна Нуда”. Имеются противоречия».

Предложенное выше истолкование «Джоконды» проливает совершенно новый свет на это эрмитажное произведение и позволяет утверждать, что автором эрмитажной «Джоконды» является Леонардо. Стоит напомнить, что ещё Ваген считал этот шедевр работой Леонардо. Чрезвычайно высоко оценивал живописные достоинства «Донны Нуды» и Э. К. Липгарт. Однако позднее мнения Вагена и Липгарта не были приняты во внимание, и до нашего доклада (14 октября 1987 г. на заседании отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа) картина находилась на экспозиции музея как работа Салаино. После доклада шедевр по непонятным нам причинам был убран в фонды и в последнем каталоге (автор — Т. К. Кустодиева) опубликован как произведение школы Леонардо. Мы, тем не менее, убеждены, что автором «Обнаженной Джоконды» мог быть только сам Леонардо — и никто другой. Сама логика

подсказывает ряд веских умозаключений. Во-первых, необъяснимо, зачем кому-то другому «обнажать» «Джоконду»? Для того чтобы превзойти автора или посмеяться над ним? И то и другое — абсурдно. В том же, что мнения Вагена и Липгарта были оставлены без внимания, нет ничего удивительного. Всё объясняется тем, что до сих пор остаётся непонятой идейная программа «Донны Нуды».

Между тем программа эта вполне «проста» и чрезвычайно тесно связана с основными идейными постулатами современной художнику эпохи. Стоит понять, что в луврской «Джоконде» мы имеем дело с «Аллегорией Христианской церкви». Как открывается её внутренняя связь с эрмитажной «Джокондой»? Для раскрытия этой органичной идейной связи надо вспомнить о любимом художником принципе контрастного сопоставления. Принцип этот, как мы уже показали в предыдущей главе, был своего рода генератором творческих замыслов Леонардо. Но какой же женский образ-аллегию можно противопоставить Церкви? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы признать: аллегорией должна быть названа «великая блудница» из Апокалипсиса, где она именно *противостоит* «жене праведной» (то есть Церкви Христовой).

О любви художника к противопоставлениям свидетельствует такой отрывок из программы для аллегорической картины или представления: «Истина — ложь, невинность — коварство, солнце — маска».¹ Ничто не мешает под *истиной* в нашем случае понимать луврскую картину. В эрмитажной картине перед нами тоже не конкретное лицо, а некая сочиненная мощной мыслью мастера фигура, построенная по тому же принципу, что и в луврском варианте. Только теперь Леонардо соединяет античных богов, во многом *противостоящих*, как известно, христианской культуре.

¹ Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М., 1955. С. 14.

Повторим ту же операцию: разделим условно картину на две половины. Как и в случае с «Джокондой», перед нами — два разных образа. В левой (несомненно женской) части — мы видим полуфигуру Венеры, в правой (мужской) — можно прочесть нечто среднее между Меркурием–Юпитером–Аполлоном. Венера, как мы знаем, покровительствовала плотской любви, Меркурий — торговле. Уже в этом легко можно прочесть всю глубину противопоставления двух «джоконд». Интересно, что противопоставление коснулось и фона, на котором изображена «жена неправедная». Фон этот вызывает много вопросов, пока не станет ясно, что художник изобразил «Блудницу» на фоне разверзнутой бездны, надвигающегося потопа. Вот откуда такая неясность, некая размытость и «незаконченность» пейзажа за спиной «донны нуды». Чтобы не возникало особых сомнений, мастер и в этом случае наполнил картину рядом деталей-символов. Одним из них является драпировка *серого* цвета (символика серого в этом случае понятна). Кроме того стоит внимательно присмотреться к деталям фона.

Но прежде чем обратиться непосредственно к ним, посмотрим на некоторые рисунки Леонардо, в которых из водных струй творческой волей художника образованы головы «фантастических» животных: например, в рисунке, хранящемся в Виндзоре (№ 12661), ясно читается голова собаки. Среди других фантастических существ, встречающихся в рисунках Леонардо, большое место занимает свиноподобная химера, которую принимают иногда за волка — например, в рисунке из Виндзора «Аллегория» (№ 12496), или в рисунке из Лувра (№ 2247) с одноимённым названием. Волк ли это, или апокалиптический «зверь» — проблема, которой мы здесь не будем касаться, а обратимся к нашей картине. Дело в том, что при внимательном анализе в левой части фона явно просматривается одна из таких химер со свиноподобной головой. Как тут не вспомнить Кастильоне, писавшего о творчестве Леонардо

рассматриваемого периода: «Один из первых живописцев мира пренебрегает своим чудесным и радостным искусством и погрузился в философию, где не создаёт ничего, помимо странных выдумок и новых химер, которые его живопись не в силах».¹

Граф Кастильоне оказался неправ: гений Леонардо блестяще справился с задачей изображения апокалипсических химер. Фон «Донны Нуды» может служить великолепной иллюстрацией к следующим строкам из Апокалипсиса: «Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откровение. 20, 13).

Голова самого Вельзевула, восстающая из морских глубин в виде рогатого козлоподобного монстра, ясно читается за фигурой блудницы.

Заметим, что подобное произведение более чем закономерно для Леонардо — современника Дюрера (с его «Апокалипсисом») и Микеланджело (с его — «Всемирным потопом»). Идеи носились в воздухе, и Леонардо, оказывается, не отставал, как полагали некоторые, а даже опережал их.

Поскольку из истории луврского шедевра известно, что его обрезали, можно полагать, что первоначально обе картины были равного размера. Таким образом, эрмитажная «Джоконда» позволяет определить первоначальные «габариты» луврской картины — «портрета».

Пакушев был вне себя.

«Что происходит с системой? Почему он до сих пор ничего не знал об этом совершенно новом взгляде на самое знаменитое после «Троицы» Андрея Рублева живописное произведение? Ведь он давно поставил задачу своим

¹ Castiglione. Il Cortegiano.

референтам докладывать о всех новых открытиях отечественных ученых. Должно быть, кое-кому служба стала медом казаться, или они посчитали это феноменальное открытие несущественным? А, может, дело ещё хуже? Может, они уже не способны отличить действительное открытие от какого-нибудь талмудического бреда? Ай да Каликин, до чего додумался! Тайну самой «Джоконды» раскусил. Так-то вот, знай наших. А я-то, дурак, «Код да Винчи» американца этого Дена Брауна читал, пустышку эту гнилую. Стоп, стоп — тот вроде тоже что-то говорил о женском и мужском в левой и правой частях «Джоконды». Интересно. Это кто же у кого позаимствовал?»

Пакушев вспомнил, что «Код да Винчи» он читал всего лишь полгода назад, и книга эта вышла совсем недавно, наделав много шума во всем мире.

А книга Каликина вышла в 2000 году. Стало быть, научные доклады на эту тему он делал ещё раньше. И, действительно, в конце издания было указано, что доклад о «Джоконде» был оглашен автором на научном заседании в Эрмитаже ещё в 1987 году.

«Ишь ты, смелый парень, не побоялся ещё в тоталитарной системе при старом Пиотровском такие вещи произносить», — хмыкнул Пакушев. Должно быть, за это и пострадал в своё время (в объективке было указано, что Каликин должен был занять место заместителя директора музея, но в связи с религиозным мировоззрением вышестоящие инстанции его отклонили).

И правильно сделали, не сработался бы он с нынешним наследственным директором. Тот только собой упоен. Даже передачу придумал: «Мой Эрмитаж» называется...

А почему, собственно, его? Вроде дореволюционные цари да императрицы музей этот строили и коллекции собирали. Ну, совсем у нас директора по стране распоясались. Где поставлены, там уже полновластными владельцами себя мнят. Нет, так не пойдет, не ваше это добро, а — государственное. Я же не говорю — моя ФСБ. А мог бы, ещё как мог бы.

Настроение его опять ухудшилось.

Он расстроился, что такого кадра в своё время просмотрели. Вот потому и работаем плохо, что дуроломов всяких подбираем, а нормальных мужиков к нам не зазовёшь. «И что у меня за служба собачья», — в который уже раз в своей жизни вздохнул Пакушев и вспомнил, как супруга ещё в молодости советовала ему пойти на преподавательскую работу. Не послушался он её тогда. Может, и зря. А, может, и не зря. Что бы он там получал, жалкий какой-нибудь доцентско-профессорский оклад... Так на него даже книг по научной теме не купишь.

А Браун, стало быть, нашего Каликина обворовал, украл идеи. Вот это — америкашка. Ну, с иностранцами вообще нам, русским, ухо надо держать востро — обтяпают, и оглянуться не успеешь. Особенно американцы. Там же у них все — потомки ссыльных преступников. Гены-то вещь серьезная.

А Каликин до сих пор, небось, Брауна и не прочитал, ему бы все Достоевского с Толстым, да Гоголя почитать. А прочтёт — расстроится. И есть от чего. Тот на этой книжке огромный капитал сделал. А наш писатель-искусствовед ради чистой науки старался.

Так вот и всегда. У нас изобретают, у них используют.

Действительно стали сырьевым придатком для всего мира. Теперь вот и идеи за бесценок у нас прихватывают. А что сделаешь, мы теперь — не сверхдержава.

Вообще-то дело тут нечистое. Кто-то, стало быть, из наших русских искусствоведов и рассказал этому Брауну об идеях и открытиях Каликина. А, может, сам наследственный директор и рассказал: он же из заграницы не вылезает.

Ладно, наведём справки. На этой истории ФСБ может неплохую игру провести. Дэн теперь у нас на крючке, рыльце-то у него — в пушку. Придётся Дэнчику капиталом кое с кем поделиться.

И настроение Пакушева заметно улучшилось.

ГЛАВА 5 ОБЩИЕ УСИЛИЯ

Общими усилиями ЦРУ и ФСБ было разыскана одна глава списка разыскиваемой рукописи. Называлась она «Профессор Петровский».

Вот, что там было написано:

Утро было светлое, морозное.

Профессор вставал обычно тяжело, потому что, как правило, укладывался в кровать поздно, уже за полночь. Он принадлежал к тому типу людей, которых называют совами. На душе было тревожно. Что-то всё же не получилось, не связалось в его жизни.

Вроде бы всё он делал на совесть, как надо, а вот повернулось так, что оказался выбит из своей, казавшейся правильной, колеи. Что-то происходило вокруг не то. Мир катился куда-то в тартарары. А началось всё совсем недавно, каких-нибудь 15 лет назад. Собственно, он мог сказать точно: началось всё в августе 1991 года, когда в Москве появились танки, и Горбачёв был арестован на своей даче в Фаросе.

С того августа всё и пошло.

Надо заметить, танки его возмутили. Он жил в Петербурге и вместе с народом тоже был на митинге перед Зимним и у Мариинского дворца, где покойный Собчак держал пламенную речь прямо из окна стихийного центра демократической революции города на Неве.

Ельцин его привлек своей решительностью и неудержимым напором. Такой прямой русский мужик — медведь из провинции. После пустовато-витиеватых речей Горбачёва ельцинская конкретность импонировала. Но постепенно Ельцин всё больше превращался в Собакевича, а потом как-то заболел, зачах и, не справившись с бунтовавшей Чечнёй, совсем сошёл на нет. Пугин появился неожиданно — как чёрт из табакерки. Вначале он привлекал своим динамизмом: летал на истребителе, увлекался горными лыжами, выходил в штормовое море на подводной лодке.

Эдакий Джеймс Бонд русского разлива.

Но и его обещания поддержать науку и культуру обернулись тем, что олигархи по-прежнему богатели, а бедные беднели.

Что-то не то происходило в королевстве датском.

Митинги и демонстрации в поддержку науки не помогали. Власть никак не реагировала на шум и крик раздавленного учёного люда — она была озабочена чем-то другим. Многие коллеги профессора давно уже уехали на запад и там неплохо устроились. Но их спасал в большинстве своём так называемый 5-й пункт, с которым они быстро находили себе поддержку и помощь в свободном мире. А кому там нужен он, русский профессор, едва владеющий английским языком, да, к тому же ещё, и в солидном возрасте? Разве что извозом заниматься где-нибудь в Париже, как это делали в своё время офицеры-белогвардейцы, вынужденные покинуть ленинскую Россию.

«За что нам такие испытания?» — думал профессор, с горечью наблюдая, как с каждым годом вдруг грянувшей свободы число опустившихся и топящихся у городских помоек граждан всё увеличивается. По телевизору, правда, бомжей с некоторых пор старались не показывать. Напротив, власти запугивали народ всё возрастающими карами за различного рода неуплаты — вплоть до выселения из квартир. Люди не платили, конечно же, не потому, что игнорировали свои гражданские обязанности. Просто платить было нечем. Лозунг дня был сформулирован не платящим населением простой и убедительный: дайте зарплату, получите квартплату. Но власти не хотели давать денег, им самим они были нужны для развернувшегося дворцово-дачного строительства, обучения детей за рубежом, закупок импортной техники и импортного мяса, поскольку собственное сельское хозяйство очередного эксперимента не пережило. А население, тем не менее, хотело есть и пить. В этом и было большое неудобство для государственного аппарата периода социализма, что он должен был думать о ритмичном снабжении населения.

Теперь об этом, слава Богу, думать было не надо. Рынок сам за всё думал.

Оклад профессора был совсем небольшим. Половина его уходила на квартплату и оплату электроэнергии, а на еду для его большой семьи оставалось совсем немного. Можно было бы жить впроголодь, но профессор с супругой ухитрились подработать дополнительно, продавали свои старые антикварные вещи и как-то с Божьей

помощью держались на плаву. Зато в магазинах теперь было всё. Студенты стали приезжать на занятия на дорогих иномарках, курили импортные сигареты и с плохо скрываемой иронией смотрели на бедно одетого профессора, приходившего на занятия в единственном костюме, приобретённом ещё на заре перестройки. При этом учились они с каждым годом всё хуже и хуже, по существу не понимая и половины того, о чем он сообщал им на лекциях. Наступала какая-то глухая пора, когда в моде было только знание иностранного языка. Особенно ценился английский. «Всеобщая гувернанизация населения», — невесело шутил он, наблюдая как расширяется познание английского.

Коллеги смотрели на него снисходительно. Они как-то сумели перестроиться, брали взятки за помощь при поступлении и, в общем-то, жили неплохо. А некоторые очень даже неплохо. Ему даже говорили иногда, что надо брать, поскольку берут всё. А он всё никак не мог переступить через свои старомодные взгляды и принципы и даже, если брался помочь какому-нибудь юному дарованию поступить в вуз, денег взять за это не желал. Над ним многие потешались. Талант же, как правило, считал, что он поступил сам и не думал хоть как-то отблагодарить профессора за замолвленное в нужное время и в нужном месте доброе слово. Что уж тут поделаешь — люди вообще не очень благодарные существа. К этому надо привыкнуть и не ждать ни от кого благодарности.

Как мудро замечено одним из классиков: «Не жди, не бойся, не проси».

Собственно этому правилу он и следовал в своей жизни.

Солнце обильным потоком вливалось в его комнату, которая с некоторых пор служила одновременно ещё спальней и кабинетом, а иногда превращалась и в гостиную, где он принимал студентов, которые по каким-то причинам не смогли сдать зачет вовремя.

Вставал из постели он тяжело, сердце в последнее время давало себя знать, появились перебои, давление часто подпрыгивало и зашкаливало.

Умывшись и помолвившись, профессор отправился завтракать. Дети уже ушли: кто — в институт, кто — в школу. Супруга в своей комнате что-то шила — она многое умела делать руками, хоть и была преподавателем вуза, но, как и сам профессор, взяток не брала.

Завтрак был скромный. Обычно профессор утром съедал яйцо вкрутую или всмятку с куском чёрного хлеба

и выпивал чашку чая. Иногда, когда давление позволяло, заваривал кофе. Во время постов яйцо заменяла овсянка на воде. Обедать приходилось большей частью на работе, а поскольку цены кусались, то на обеде надо было экономить. Только за ужином собиралась вся семья, и тут все старались поесть досыта. По сути — неправильное питание, но другого времени посидеть вместе за столом не было. У каждого в большой семье был свой режим дня.

Но перед ужином молились все вместе.

За этим профессор строго следил, поскольку сам воспитывался в религиозной семье.

Сегодня у него было четыре часа занятий (две пары), которые он планировал провести со студентами в музее. Он вообще любил сопровождать лекции конкретным анализом произведений, а не абстрактными рассуждениями и пересказом чужих мыслей. Те открытия, которые ему удалось сделать и которые, по существу, были современным обществом не востребованы, тоже строились на исключительно точном и практически хирургическом анализе. Однако в академики его всё же не выбрали, поскольку он сторонился той научной «тусовки», которая всё и решала, беззастенчиво обкрадывая таких, как он, и публикуя чужие открытия под своими фамилиями.

Бороться с этим в это время бесполезно. Сейчас выживает тот, кто беспринципней. А, может быть, так и всегда было, просто раньше он этого не замечал.

Люди ведь всегда были далеки от идеала. Если бы было иначе, разве разгорались бы войны? Человеческая злоба иногда приобретает такие формы и размеры, что остается только диву даваться, как её много и откуда она берётся. Впрочем, вполне понятно откуда.

Только дело вовсе не в материальном достатке, как считали и считают социалисты-коммунисты, а в чем-то другом. Малый разве недостаток был у Нерона, у финансистов Гитлера, у той же Салтычихи? Можно быть олигархом и всё равно иметь злобный и завистливый нрав. А нынешние бритоголовые все разве из бедных семей?

Как правило, управляют всеми силами зла люди вполне состоятельные.

Да очень много злобы в мире.

Но и доброты не убывает.

Русский солдат в Берлине, который кормил немецких детей — детей тех самых извергов, которые сожгли его дом, уничтожили его семью. Русская женщина, которая

спасала евреев, издевавшихся до войны в Советской России над православными иконами, приходившими с продотрядами отнимать последний хлеб у голодающих крестьян, организовав тем самым знаменитый голод на Волге и затем на Украине.

А то, что и после всех чеченских зверств, после мученической кончины многих русских в Чечне, Средней Азии, на Украине и в Молдавии, в других бывших советских республиках, русский народ не озлобился, но и до сих пор ещё по-доброму смотрит на своих соседей — это разве не говорит о том, что доброта тоже никуда не исчезла.

Идёт великая война — она давно идёт, ещё со времен Авеля и Каина. Враг рода человеческого внушает злобные мысли, подталкивает ко злу. Господь удерживает людей от зла.

А люди выбирают... На то и дана им Богом свобода выбора.

И сегодня гамлетовский вопрос звучит не так, как он звучал у Шекспира, но намного конкретней. Человек всё чаще оказывается перед выбором другого, ещё более страшного рода — не «быть или не быть» вопрошает он сам себя, но — убить, или не убить?

Сербия, Ирак — тут выбор был сделан в пользу Каина.

Каинов выбор был сделан и в 1993 году, когда из танков расстреливали депутатов Верховного Совета в Москве.

И только доброта спасла русских людей от всеобщей гражданской войны в то время.

Не взялся народ в массе своей за оружие. Кто-то теперь считает, что зря не взялся.

Но это — злобные мысли. Нет бедствия страшнее гражданской войны.

Поток мыслей профессора прервал телефонный звонок. Звонила студентка, у которой была задолженность по уважительной причине. Договорились о встрече в музее, где через час должны были начаться занятия со студентами перед картиной Леонардо «Мадонна Бенуа».

Профессор попрощался с супругой и вышел из дома в распаханное всем ветрам пространство Петербурга.

Солнце стояло уже довольно высоко, и в весеннем воздухе ощущалось дыхание лета, несмотря на то, что ещё и апрель не кончился. Просто весна в этом году была ранняя, и обещали тёплое лето. Парниковый эффект делал своё дело, приближая тот миг, когда мировой океан снова начнет своё великое наступление на сушу. Вот растают льды Антарктиды — и что будет делать человечество?

Профессор давно понял, что научно-технический прогресс, которым так гордятся развитые страны, по сути — тупиковый путь развития. Погоня за удовольствиями и удобствами приобрела такой невиданный масштаб, что скоро обернётся всемирной катастрофой. Темпы вырубki лесов давно превысили темп их воспроизводства. Выкачивание нефти и газа из недр обязательно скажется на общем геофизическом состоянии — новые землетрясения, обвалы, оползни, цунами неизбежны. Да и вообще отрыв людей от природы, скопление их в мегаполисах — ведут к оскудению умственной и физической энергии народов. Человек по своей конституции прочно связан с природой, когда же эта связь нарушается, происходит невосполнимая утрата, что сказывается и на психическом, и на нравственном уровнях.

Он шёл, не спеша, знакомым путем — мимо Ростральных колонн в сторону Эрмитажа, размышляя о том, что рассказать сегодня студентам о великом и загадочном Леонардо.

Профессор давно жил на свете. Он был на пять лет старше действующего президента и хорошо помнил многих правителей России.

Помнил смерть вождя всех времен и народов. Помнил, как Хрущёв угрожал США. Помнил, как США угрожали Кубе и жгли вьетнамские города и села. Помнил, как бровастый Брежнев с соратниками ввели войска в Афганистан. Помнил своё бессильное несогласие с этим и помнил, как Горбачёв поспешно выводил войска из Афганистана.

Он хорошо помнил ветер перестройки и бодрые обещания властей обустроить Россию. От кого они только не исходили. Но при смене политических декораций жизнь лучше не стала. Точнее — стала лучше для кучки пролазливых мошенников, сумевших в одночасье прихватить общенародное достояние. Почему-то в России всегда процветают Чичиковы и Хлестаковы, а что касается Пушкина и Гоголя — те получают достойное вознаграждение только после смерти.

В этом плане Леонардо, можно сказать, повезло. Его при всех злоключениях, по крайней мере в старости, оценили. Французский король Франциск I, добрая душа, предоставил измученному гению замок, окружил заботой и вниманием, создал все условия для творчества. И хоть силы художника уже были на исходе, но всё же в свои последние годы Леонардо кое-что успел.

Да... вот бы ему, профессору, найти такого покровителя-мецената...

Сколько замыслов можно было бы реализовать, сколько лежащих в столе рукописей напечатать на хорошей бумаге с качественными иллюстрациями и с параллельным текстом на английском языке. А пока что приходится отсылать студентов к старой литературе, чтобы они не забывали себе голову халтурой пробивных псевдоспециалистов, заполнивших книжный рынок компилятивной продукцией...

Профессору удалось опубликовать только одну книгу.

И книга эта стоила всего моря толстых изданий, которые глянцево лежали в книжных киосках и даже иногда продавались за неимением серьезных научных изданий. Его книга была выпущена ограниченным тиражом и давно уже разошлась по стране и миру. То там, то здесь он наталкивался на скрытое цитирование, а то и прямой плагиат его мыслей, умозаключений и выводов, но, как правило, без ссылок.

Разбой в науке приобретал угрожающие формы.

Мир на всех парах летел к пропасти. Талант, одаренность, — всё это с каждым годом ценилось всё меньше. За последние десять лет профессор к своему прискорбию не встретил ни одной оригинальной мысли, не отметил ни одного выдающегося открытия. А ведь они наверняка были.

Просто им не дали хода, по каким-то далёким от науки соображениям...

Размышления профессора прервала нецензурная брань подростков, которые неторопливо шли в школу с большим опозданием. Увы, мат в последнее время стал почти повсеместно слышен в городе.

А ведь когда-то человек, позволивший себе выругаться в обществе, подвергался остракизму...

Да, что об этом сейчас говорить, когда теперь и девушки сорят матом, как семечками.

В Эрмитаже он встретился со студентами, как обычно, на втором этаже Иорданской лестницы. Студенты пришли вовремя, что уже было хорошо для этого разболтанного и смутного времени. Он вёл их по Зимнему дворцу, где всё дышало историей, и думал о превратностях судьбы. Сколько всего видели эти стены, какие и чьи только шаги не раздавались здесь когда-то. Каким испытаниям не подвергалось это творение Растрелли и Стасова.

Елизавета, Екатерина Великая, пожар 1837 года, смерть Александра II, взрыв халтуринской бомбы, военные лишения и революционные беспорядки, превращение всей императорской резиденции в музей, бомбардировка фашистами во время Второй мировой...

Всё выдержал этот великий дворец. Переживёт ли он нынешнюю смуту?

Поживём — увидим.

Он любил Эрмитаж. Правда, в последнее время выставки утратили здесь ту значительность и глубину, какими славился музей раньше, — должно быть потому, что погоня за коммерческим успехом приводила к скоропалительности и суетливости в их организации. А многих выставок можно было бы и совсем не делать, они не украшали музей, а низводили его до уровня шапито.

Удивляло его и то, что дирекция музея, незаметно превратившаяся в своего рода министерских чиновников, совершенно не следила за поощрением научных сотрудников, среди которых у профессора были друзья и добрые приятели. Все они дружно жаловались на директорат, занятый в духе времени саморекламой и обслуживанием сильных мира сего.

Музейные работники постепенно были превращены в интеллектуальных рабов. За малейшую провинность дирекция карала сурово, лишая грантов и командировок даже уважаемых ученых и, наоборот, всячески поддерживая тех, кто лебезил и наушничал.

Одну его старую знакомую с тридцатилетним стажем работы в музее уволили только за то, что она посмела высказать своё несогласие в связи с приобретением явно фальшивого «Черного квадрата» Малевича. Постмодернистские взгляды на жизнь и на искусство власть предержавших проявились в этом вопиющем акте во всей своей циничной полноте. Дирекция давно не интересовалась жизнью своих сотрудников. Кучка льстецов и прихлебателей, окружавшая ее, была далека от какой бы то ни было науки.

И что же это за страна у нас такая, в которой тайный сыск и заплечных дел мастера правят свой черный бал, несмотря на войны, революции, перестройки и постперестройки.

«И вот эти недоучки составляют какие-то черные списки, издеваются над уважаемыми людьми, а, по сути, едят их хлеб, — думал профессор, ведя студентов в направлении зала Леонардо. — Что же это за страна, где “раб

и льстец одни приближены к престолу». А впрочем, о чём я, ведь и престола-то по существу нет».

Вот потому тайный сыск и взял власть. И ещё больше власти потребует.

А как же?

Ему власти всегда мало.

Неужели права злобная Новодворская и иже с ней, которые обвиняют русский народ в рабском менталитете?

А вот это — вряд ли.

Где ещё были такие богатыри, как в России? Разве не русские брали Измаил, освобождали Европу от фашистской чумы, а евреев от холокоста, выводили Прибалтику из феодально-крестьянской отсталости к уровню европейских государств? Разве не русский православный человек первым вышел в космос?

А Пушкин, а Достоевский, а Тютчев и Лев Толстой, да и многие — многие другие мировой величины люди — они-то разве не русские?

Нет, ошибается Новодворская: велик и могуч русский человек. Вот только доверчив уж очень и слишком некритично относится к начальству, полагая, что тому видней.

А начальство-то давно уже, с 1917 года, — не от Бога.

Оно само отделило церковь от государства. Для чего, спрашивается? Ответ, как думается, ясен — чтобы Церковь ему о совести не напоминала.

И пусть некоторые из представителей власти стоят в церкви со свечками, не надо обманываться — они зашли сюда не по зову сердца, а за голосами верующих избирателей.

Профессор смотрел в чистые, любознательные глаза своих студентов и ему было жаль эту наивную молодость. Увы, при нынешней системе впереди их ждёт в высшей степени неопределённое будущее, а, скорее всего, всей этой молодости придётся жить в эпоху новых социальных потрясений и террористических вылазок непонятного (и вполне понятного) происхождения. Не исключена и ядерная война, поскольку атомным оружием уже обладают многие страны.

Если ослабнет молитва праведников, уже завтра может наступить Судный день, от которого не спасёт никакой сыск и никакие президенты на свете. А праведников остается всё меньше.

Нет уже таких, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Серафим Вырицкий...

Слаб человек и всегда был, а теперь, к концу времён и совсем запаршивел.

С картины Леонардо на профессора смотрела отроковица Мария с Богомладенцем на руках. Профессор вспомнил книгу своего эрмитажного друга, повествующую о том, что в этой картине, несмотря на живописные новации, художник следует средневековому канону изображения, намеренно увеличивая фигуру Богомладенца и подчеркивая невинность совсем юной Марии.

Он ещё раз отметил для студентов это издание. Пусть увидят, что есть ещё оригинальные концепции и в наше время так называемой коллективной (читай — компилятивной) науки. Увы, состояние дел в науке с каждым годом все больше пугало профессора. Кумовство и тусовка проникли в нее до такой степени, что, по сути, наука начала вырождаться. Все чаще стали появляться назначаемые властью академики, как правило, ничего в научном отношении собой не представляющие, но уверенно заседающие на папах и влиятельными покровителями пригретых местах. Общий уровень науки в стране неуклонно снижался. Да и как он мог не снижаться, если настоящие ученые были лишены всякой финансовой поддержки, а гранты получали ловкачи и подлипалы. Кое-кто из молодых дарований в результате ушел в коммерцию и погиб как ученый. А те фанатики чистой науки, что остались, были вынуждены заниматься дополнительной, зачастую чисто коммерческой, деятельностью. В результате на фундаментальные исследования времени почти не оставалось.

Россия по воле или, наоборот, безволию властей все больше превращалась в страну третьего мира. Он чувствовал своё бессилие что-либо сделать и только молил Бога послать стране мудрого и болеющего за народ правителя. И не так важно, кем будет этот правитель по названию — монархом, государем, царем, патриархом, Верховным правителем или даже председателем земского собора.

Важно, что — не президентом, этим заимствованным иностранным понятием, совершенно не отвечающим условиям жизни в России, только отпугивают народ от всякого участия в обустройстве жизни. Вот жизнь и вымирает постепенно, а разрастается только репрессивный и фискальный аппарат.

«Что такое государство без справедливости (основание которой заложено в религии) как не большие разбойничьи банды», — эта мысль блаженного Августина все больше поражала его своей глубиной. И, действительно, вся история Советской России после расстрела царской семьи в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге — это история борьбы этих разбойничьих банд друг с другом. Сначала банда Ильича–Троцкого свергла и расстреляла Романовых, а также тысячи и тысячи лучших людей России. Потом пахан Сталин убрал банду Троцкого и самого предводителя. В свою очередь коварный Берия отравил хозяина, но недооценил хитрости Хрущёва. Хрущев расправился и с Берией, и заодно с Жуковым. Его самого в свою очередь спихнул бровеносец Брежнев, ещё один «Ильич» на залитом кровью советском престоле. Профессор с брезгливостью вспомнил время брежневского застоя, когда портреты тупых и самодовольных членов Политбюро висели повсюду, являясь своего рода официальным иконоostasом каждого государственного учреждения.

Когда «бровеносец» умер, и днепропетровская мафия потеряла былую власть, громыхнул Чернобыль.

А дальше — все пошло совсем по непредсказуемому сценарию — резня на Кавказе, нерешительность Горбачёва, ГКЧП, Ельцин на танке, резвый Собчак, Чечня.

Разборки посреди дня на улицах Москвы и Петербурга, других крупных городов при огромном аппарате МВД и других охранных структур.

То, что называется — беспредел...

Студенты внимательно слушали профессора, который рассказывал им о тайне «Джоконды», о других знаменитых шедеврах Леонардо, не представленных в Эрмитаже, но хорошо известных всему образованному человечеству.

Как хорошо, все-таки, что есть искусство. Оно уведит прочь, в заоблачные выси идеальных образов, подальше от мирской суеты и грязи.

Глухо ухнула пушка Петропавловской крепости: полдень.

Профессор посмотрел на часы, сверяя их ход. До конца занятий ещё оставалось немного времени, и он предложил всем пройти в следующий зал, где на стенах висели картины учеников Леонардо. «Леонарdesки» (так в науке называли учеников великого мастера) его не очень вдохновляли. Ни одному из них не удалось ни в чем превзойти

своего учителя. Леонардо все же был прежде всего мыслителем и только затем его интересовали чисто технические моменты. Каждый жест, любое движение в его великих произведениях были глубоко продуманы и органично связаны друг с другом в системе богословия, вне которого его картины вообще невозможно правильно истолковать. Разве можно понять «Джоконду», не осознав, что эта картина вовсе не портрет незнакомки, а аллегория «Христианской церкви».

Профессор вспомнил, какой шум произвел его доклад о «Джоконде» в своё время. А потом его благополучно замолчали, потому что он по тем, застойным ещё временам, был слишком смел и противоречил высказываниям ряда академиков.

Академическая тусовка временно победила истину.

Да только шила в мешке не утаишь. Тайна «Джоконды» была открыта с момента того доклада для всех действительно любознательных, а что академики её замолчали — так это уже их беда...

Слепые поводыри слепых.

Стыдно быть профессором в такое темное время. А ведь когда-то были — Ломоносов, Менделеев, Лобачевский, Павлов, Кондаков, Стасов...

Куда все делось?

Кухарки стали управлять не только государством, но и наукой, культурой и искусством.

Он отпустил студентов, совсем присмиривших к концу занятий, и то ли от усталости, то ли от объема полученной ими информации смотревших на профессора округлыми глазами. Как все же обаятельна молодость, и откуда потом берутся монстры — вроде того молодого выскочки, который в угоду его старым оппонентам попытался поточить об него свои зубы на последнем заседании кафедры.

Ничего не вышло.

Пока не вышло.

День разыгрался вовсю. Солнце сияло совсем полетнему.

Он вышел из Эрмитажа в приподнятом настроении. Общение с Леонардо, сама атмосфера Зимнего дворца всегда наполняли его какой-то светлой, жизненной энергией. Верилось, что все будет хорошо, что впереди ещё много различных свершений...

...

Профессор погиб под колесами служебной автомашины. За рулем сидел сотрудник отдела личной безопасности одной ВИП-персоны Петербурга.

Машина шла на красный свет, включив мигалку. Какой-то замешкавшийся старик оказался случайной жертвой этого наезда.

Не прав в этой ситуации был профессор. Он должен был уступить дорогу ВИП-персоне с мигалкой.

Почему он этого не сделал — так и осталось тайной для многих...

Пакушев недовольно поморщился. Это явно не та рукопись, которую ФСБ вместе с ЦРУ искали. Очевидно, Каликин подsunул «дезу», которая хоть и пробуждает социальный протест и пропитана бунтарским духом, но все же ещё не способна поколебать основ российской государственности.

Многие писали в таком же духе, хоть, может быть, и не так едко. А призывов к неповиновению властям, отмене рынка и немедленной социальной революции здесь нет. Стало быть, и дело заводить пока рано. Мало ли кто и что в своем черновике–беловике напишет.

Да, перед ним, безусловно, и был черновик, своего рода скелет какой-то большой вещи, которую хорошо спрятал этот неуловимый Каликин.

«Ничего, найдем, — озлился вдруг Пакушев, — выведем тебя на чистую воду. Ишь, он в прятки с государством играть вздумал, не выйдет, брат. У меня не спрячешься».

И он снова и снова перечитывал то, что лежало у него на столе, пока супруга не пригласила его перед отходом ко сну к столу, где его ожидала неизменная чашечка любимого им подогретого саке.

ГЛАВА 6 ДЭН БРАУН И ЕГО ТАЙНА

Разбогатевший на научных открытиях русского искусствоведа и писателя Каликина американец Дэн Браун не чувствовал больших угрызений совести. Идеи эти ему преподнес его старый друг Уилл, который работал в Коллекции Менил известного города Хьюстона.

Дело все в том, что в 1998 году в Эрмитаже была открыта зарубежная выставка работ Рене Магритта — бельгийского художника-сюрреалиста, большим собранием картин которого как раз и обладает Коллекция Менил. Уилл Стен, потомок знаменитого голландского живописца Яна Стена, был в составе сопровождающих американскую выставку лиц. В Эрмитаже ответственным сотрудником за развертывание экспозиции в стенах музея назначили Ивана Каликина. Каликин несколько дней общался с американцами, помогая им в решении всех вопросов по развертыванию экспозиции. В ходе общения он сам как-то и рассказал Уиллу о своих докладах и статьях, посвященных творчеству Леонардо. Идеи Каликина настолько поразили Уилла, что по возвращении домой американец поведал о них некоторым своим друзьям и знакомым. В том числе — и Дэну Брауну.

Дэн в это время как раз находился в кризисе. Его книги не особенно расходились, критика отзывалась о них, скорее, по долгу службы, чем по интересу.

Впереди маячило довольно грустное будущее. Так что сам Всевышний послал ему Уилла и бесплатный подарок в виде оригинальных идей Каликина. Уилл привез с собой в Хьюстон и несколько акварелей этого русского искусствоведа, сумевшего разгадать сюжет самой таинственной картины в истории человечества. Странные эти русские: делают такие открытия и сидят — помалкивают.

Чем же у них занимаются свободная пресса и независимое телевидение — или только начальство да олигархов обслуживают?

Дивная страна! Да если бы ему, Дэну Брауну, пришло в голову что-нибудь подобное, и он сделал бы об этом доклад в музее, то об этом мир узнал бы через два дня...

Но не пришло.

Ничего, можно выступить в роли не первооткрывателя, но первого интерпретатора. Про эти идеи русского ученого и писателя у нас в Штатах и в мире никто кроме Стена не знает. На них можно сделать хорошие деньги — быстро сообразил Дэн.

А если Леонардо связать как-то с моей любовью к детективному жанру, тогда можно будет достичь успеха. Кажется, мы выплываем к новым берегам.

«Вау!» — издал он крик индейца и кинулся к компьютеру, чтобы набросать план будущего детективного романа.

Так, и никак иначе, появился на свет «Код да Винчи», который принес его автору заслуженную скандальную славу.

Браун не интересовался дальнейшей судьбой Каликина. Честно говоря, даже не знал, что тому удалось с большим трудом, несмотря на противодействие разномастных и разновластных завистников, издать на русском языке небольшую книгу, посвященную Леонардо, где он в тезисной форме изложил свои взгляды. Не знал Браун и той неприятной для него подробности, что книга Каликина вышла на три года раньше его детектива. А все идеи, высказанные в ней автором, были ограждены уважаемым в свободном мире значком «копирайт», запрещающим их использование без разрешения автора.

Так Дэн оказался в пикантной ситуации.

Но пока что он не подозревал об этом и блаженствовал, купаясь в море денег. Плевать ему было на протесты христиан всего мира в связи с тем, что он исказил учение Христа, оскорбил память Леонардо и Марии Магдалины. Его всегда интересовали только деньги. Собственно

и детективный жанр он полюбил потому, что книги этого жанра расходятся быстрее, чем какая-нибудь беллетристика. Скандала с авторскими правами он, конечно, остерегался, но ведь Каликин живет в России, а не в Америке. Если и узнает что-то, то не скоро.

Однако успех книги превзошел его ожидания и немного встревожил его. Он сам не предвидел такого бешеного успеха. К нему подходили искусствоведы и отпускали комплименты о его наблюдательности и глубине прозрения, восторженные почитательницы звонили ему днем и ночью. У него не было времени для встреч с ними. Сейчас он работал над сценарием для Голливуда по своей книге и размышлял о том, как ему быть со Стеном и Каликиным. Стен уже стал странно посматривать на него и неизвестно, будет ли он долго держать язык за зубами.

А как поведет себя незнакомый ему русский, он тем более не знал...

Зато генерал Пакушев знал, как поведет себя ловкий Браун, оказавшийся перед лицом неопровержимых фактов. ФСБ по его приказу уже разрабатывала операцию по изъятию миллионов Брауна. Операция называлась «Плагиатор» и предполагала вербовку Брауна, попавшегося в капкан собственной жадности. Каликин в этой операции должен был использоваться втемную и, конечно, остаться без денег.

«Зачем ученому и писателю деньги? Ему и так интересно жить», — думал Пакушев, попивая свой вечерний саке с женой на пару и размышляя о превратностях судеб Брауна и Каликина.

ГЛАВА 7

БЕСПЛОДНЫЕ ПОПЫТКИ

О том, что Ден Браун украл и извратил его идеи, Калинин узнал от своей дочери Александры. Она иногда почитывала детективы, несмотря на недовольные реплики отца о том, что надо читать русскую классику. Классику Александра тоже читала, но детективы читались легче, и их не нужно было запоминать. Прочитал и забыл. Совсем неплохо, когда устаешь за день от деловых разговоров на работе так, что вечером голова гудит. Какая уж тут классика. Классику писали для неторопливого чтения в поместье, в семейном кругу. А теперь пишут слоганами — вроде Пельменева и ему подобных.

Из современных петербургских классиков она читала только Гранкина, Бытова и Корняева.

Честно говоря, никто из них ей особенно не понравился. Пушкин и Гоголь писали много лучше. Да и современный испанец Санчес Коэльо был ей больше по вкусу, чем тяжёловесная проза Гранкина и Корняева. Бытова она осилить не смогла. Молода ещё была понять почти пастернаковскую глубину «Желтого дома». САМ писатель, которого она однажды видела вживую на одной из светских тусовок, произвел на нее малоприятное впечатление, поскольку был нетрезв. А пьяных мужчин Александра недолюбливала. «Не то сейчас время, чтобы интеллектуалы спивались, когда русская литература гибнет под бульдозерным наездом марвининых, дунцовых, воронкиных, усиновых и прочей литературной шпаны из домохозяек», — горько думала она, с иронией наблюдая, как Бытов с мешками от горького идейного пьянства под глазами пытается флиртовать с одной из её богатых подружек.

— Не Лев Толстой, — ответил ей отец, когда она спросила его мнение о качестве прозы Бытова.

Мнением отца в области литературы Александра пока ещё дорожила, и поэтому Бытов не был удостоен её внимания. «Желтый дом» так и остался недочитанным.

По наущению дочери Каликин прочитал писанину Дэна. Как и следовало ожидать, он просто взревел от негодования. Не столько даже за себя и свои украденные идеи, сколько в бессильной ярости за Христа, Марию Магдалину и обожаемого им Леонардо.

Как Дон Кихот Ламанчский, бросился он с копьем наперевес, чтобы поразить врага: написал и отправил в «Литературную газету» «Открытое письмо Дэну Брауну» через своего хорошего приятеля и собрата по перу Владимира Шемчушенкова, специального корреспондента этой выправляющейся постепенно от опасного крена бездуховности писательской газеты.

Увы, письмо это не было напечатано. Свою роль сыграли два фактора: во-первых, он сравнительно недавно был принят в Союз писателей и ещё не заслужил по мнению редколлегии права на такого рода публикацию, а, во-вторых, никто там не читал его книгу о Леонардо, и им было неохота разбираться в этой проблеме. Вот если бы у них кто-нибудь чего-нибудь украл, тогда, конечно, это была бы проблема, достойная внимания. А поскольку украли не у них, а у Каликина, то пусть он сам и разбирается с помощью адвоката...

Адвоката у Каликина не было. И денег на адвоката тоже. Да и вообще, откуда у русского ученого и писателя могут быть деньги. Деньги, как известно, все находятся у писателей не русских. И пишут эти так называемые писатели такие сценарии, от которых у простого народа всей земли волосы дыбом становятся. Потому что такая у них задача — оставить на земле золотой миллиард, а остальных не надо. Остальные должны побыстрее перейти в мир иной. Иначе, по теории Мальтуса, человечество задохнется от собственных испражнений.

Или — стихотворений, которых в последнее время кто только не пишет. Почти каждый уважающий себя человек

должен выпустить книгу своих виршей. Каликин знал одного любителя, потратившего все свои деньги на то, чтобы издавать бесплодные опыты. Таким образом он выпустил около десятка книг, но в Союз писателей так и не был принят. Бедный, он развелся с женой, уволился с работы и, в конце концов, пошел в депутаты. Сейчас заседает в Государственной Думе и никак не хочет принимать закон о творческих союзах, потому что натерпелся он от них, от этих творцов. Пусть теперь они потерпят. Может, вымрут потихоньку все, тогда и он поэтом окажется.

А что? — на безрыбье-то рак — рыба!

Трудно разве написать что-нибудь вроде:

Прошла зима, настало лето,
Спасибо Пугину за это.

Или:

Это просто, как курок,
Пугина — на третий срок!

Да хоть сейчас с закрытыми глазами. И в голову депутата пришла светлая мысль начать кампанию за поправку новой российской Конституции в пользу любимого народом президента. Впрочем, не известно доподлинно: в его ли голову это пришло, или его об этом попросили.

История об этом умалчивает.

А письмо, которое Каликин написал Дену, гласило:

Уважаемый господин Браун,

Прочитав детектив-бестселлер «Код Да Винчи», вышедший в 2003 г. и принесший Вам мировую известность и немалое состояние, я с удивлением обнаружил на его страницах основные идеи своих трудов, посвященных великому Леонардо.

Так вы, практически слово в слово, повторяете определение «сфумато», впервые оглашенное мной ещё 14 октября 1987 года на заседании отдела истории западно-

европейского искусства Государственного Эрмитажа, и совершенно отличающееся от общепринятого.

Тогда же мной была подчеркнута и такая уникальная особенность «Джоконды» как разделение её композиции на «мужскую» (правую) и «женскую» (левую) части.

Достоинство удивления и то обстоятельство, что вы вслед за мной указываете на разные линии горизонта в левой и правой частях знаменитой картины.

Что касается четвертого основополагающего положения, где мной было показано, что автор совместил в этой картине образы Христа и Мадонны, здесь вы совершенно в духе постмодернизма заменили главные образы европейской культуры образами египетских богов Амона–Осириса и Исиды. Ясно, что это лишь ловкая маскировка открытого опять же мной принципа совмещения мужского и женского божественных начал в этом мировом шедевре.

Наверное, я бы спокойно перенес использование моих научных разработок в художественной литературе, но оченьстораживает и даже оскорбляет Ваше отношение к Леонардо–богослову и художнику–христианину. Вы вслед за злостными клеветниками голословно утверждаете, что великий мастер был гомосексуалистом — между тем эта злобная сплетня была опровергнута в судебном порядке ещё при жизни Да Винчи.

Что касается романа Иисуса Христа и Марии Магдалины, то этот Ваш пассаж вызвал совершенно справедливые протесты у христиан всего мира.

Таким образом, г-н Браун, я считаю Вас виновным в использовании идей моих научных разработок в корыстных целях, нанесении лично мне и имени Леонардо Да Винчи морального ущерба, оскорблении христианской веры.

Сомневаюсь, что американская Фемида привлечет Вас к ответу, и Вы возместите мне моральный ущерб, который лично я испытал, увидев, в какой связи использованы и извращены мои открытия.

Но напоминаю, что мои авторские права на взгляд на «Джоконду», как не портретное, а аллегорическое изображение, все же существуют и нарушать их даже в детективе без разрешения автора непозволительно.

Эти утверждения отнюдь не голословны — любому заинтересованному читателю достаточно ознакомиться с монографией «Леонардо да Винчи или богословие в красках», вышедшей в Петербурге в 2000 году и вобравшей

в себя мои предыдущие доклады и публикации, а также с другими сообщениями на эту тему.

Все публикации были ограждены от плагиата и несанкционированного использования известным всем издателям значком ©.

И далее — подпись.

Жалко, что не напечатали. Странные они там люди в «Литературной газете», чего только не печатают, а члена своего же Союза писателей не напечатали.

«О темпере, о морес», — вздохнул Каликин и помолился о здравии и благоденствии всех своих обидчиков.

Но Дэну Брауну он обиду простить не мог, потому что не за себя обиделся, а за христианскую веру. Также впрочем, как честные христиане всей земли.

А это — совсем другое дело.

Совсем другое.

ГЛАВА 8 МИХАИЛ ПОЖАРСКИЙ И «ТИХИЙ ДОН»

Друг Ивана Михайловича Каликина Михаил Александрович Пожарский-Таланкин был известен в узком кругу специалистов по истории советской литературы как возмутитель спокойствия и великий раздражитель так называемых «шолоховедов». Дело все в том, что весной 1993 года он напечатал в одной из петербургских газет статью с сенсационным названием «Александр Серафимович — автор “Тихого Дона”». Статья имела определенный резонанс в читающем обществе и, поскольку в настоящее время стала уже исторической редкостью, её стоит привести целиком. Вот она:

«Нет, не Федор Крюков, как полагают некоторые исследователи, был автором “Тихого Дона” и “Поднятой целины”, “Донских рассказов” и вообще всех литературных произведений, вышедших под псевдонимом М. А. Шолохов.

Именно он, Александр Серафимович Серафимович (Попов), родившийся в 1863 году и скончавшийся в 1949 году, большой русский писатель, уроженец Дона, создал в расцвете своего творчества роман, поразивший мир в своё время. Чтобы убедиться в авторстве, не надо применять компьютер. Вполне достаточно положить на стол рассказы Серафимовича и рассказы Шолохова, прочесть несколько страниц “Железного потока” и перейти от них к страницам “Тихого Дона”. Ухо профессионала при внимательном чтении не услышит абсолютно никакого диссонанса. Обратимся, чтобы не быть голословными, к тексту.

“Не пришли казаки — пригнала их царица. Катька полтора года назад разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда, пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От её пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине...

В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев черкесы — кровавыми слезами плакали

запорожские казаки; поминали родную Сечь, и днем и ночью бились с желтыми лихорадками, с черкесами, — нечем было поднять её вековых, не тронутых человеком залежей”.

Не образ ли неподнятой целины встает перед нами, читатель? Но текст взят из “Железного потока” Серафимовича. Вчитаемся в страницы, посвященные офицерской карьере Кожуха — центральной фигуры поэмы-повести Серафимовича. Трудно отрицать очевидное: и характер, и сама офицерская карьера Кожуха чрезвычайно напоминают судьбу офицера Мелехова.

“Шумит река...” — сквозной образ железного потока, шумит тихий Дон в романе Шолохова.

Сравним несколько предложений.

“Рос в горле крик, но слёз не было и оттого каменная горечь давила вполне” — “Т. Дон”.

“Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки...” — “Жел. поток”.

“Григорий чувствовал, как исходит весь каменной, горячей тоской...” — “Т. Дон”.

Или ещё:

“Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул...” — там же.

Продолжим сравнение текстов:

“— Как он постарел! Ужасно как постарел! — мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексеева влажных миндалевидных глаз” — “Т. Дон”.

“Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда” — “Жел. поток”.

“1916 год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой” — “Т. Дон”.

Не правда ли, тексты “разных писателей” несколько похожи?

Далее:

“Страх налил мутью его телячьи глаза” — “Т. Дон”.

“Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом” — “Жел. поток”.

Что касается “глаз”, “солнца”, “змеи”, “реки”, то Серафимович-Шолохов обращается к этим образам на протяжении всего своего творчества: только на одном этом материале можно было бы построить убедительную модель, показывающую полную идентичность текста. Но на доказательства образного ряда ещё можно найти возражения, ведь Серафимович и Шолохов — земляки, отсюда могут быть и излюбленные образы, и общезыковой субстрат. Допустим и это.

Но есть у каждого крупного писателя некая своя, только ему присущая, неповторимая стилистическая особенность, которая всегда выделит его, позволит узнать среди тысячи других. Своего рода “визитная карточка” автора. Была такая визитная карточка и у Александра Серафимовича — самого крупного донского писателя, автора замеченной Л. Н. Толстым повести “Пески”, романа “Город в степи”, многих рассказов, отмеченных печатью незаурядного таланта и признанных как публикой, так и строгими критиками дореволюционной России. Такой “визиткой” Серафимовича-стилиста мы считаем нарочито инверсионный порядок слов в предложении, с помощью которого автору всегда удавалось создать запоминающийся образ.

Например:

“Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы” — “Жел. поток”.

“Гудит несущаяся навстречу буря” — там же.

“И поползла в горы бесконечно живая змея” — там же.

“На берегу неподвижно и важно белели, стоя на одной ноге, гуси” — Серафимович, “Змеиная лужа”, 1914 г.

А вот писатель М. А. Шолохов, его “визитная карточка”: “На голову выше армейцев-казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживают в голубых фуражках атаманцы” — “Г. Дон”.

“Ловко обтягивал его офицерский сюртук” — там же.

“В сонной одуре плесневела в Ягодном жизнь” — там же.

“На четвертой неделе поста сдала зима” — там же.

И т. д. и т. п.

Подобных примеров очень много. Практически нет ни одной страницы из текстов Серафимовича и Шолохова, где не применялся бы этот — исключительно характерный, несколько нарочитый, очень похожий по ритмике, по мелодике — инверсионный порядок слов. Приведены

не самые удачные примеры, но внимательный читатель сам легко найдет множество других идентичных образов и оборотов. Мы уверены, что для профессионалов, вдумчиво перечитавших Серафимовича и Шолохова, вопрос об авторстве разрешится вполне однозначно.

Однако возникает недоумение: “Почему Серафимович пошел на эту литературную мистификацию?” Разрешить его, учитывая историческую ситуацию того времени, не так сложно: “Тихий Дон” — очень рискованный роман для эпохи диктатуры пролетариата. После публикации такого “белогвардейского” романа Серафимович мог оказаться где-нибудь на Соловках. Но Александр Серафимович хотел и дальше спокойно заниматься любимым делом, а не подвергаться нападкам уже в почтенном возрасте. Вот почему, как думается, он и пошел на эту — самую крупную — литературную мистификацию XX века. Были и другие соображения, вероятно. Но в любом случае молодой земляк Михаил Шолохов, отслуживший в продотряде, кристально чистый перед Советской властью, имеющий всего лишь четыре класса образования, был той каменной стеной, за которой Серафимович мог плодотворно и спокойно трудиться. А молодому Шолохову, видимо, лестно показалось слыть среди станичников большим писателем. Образования бы чуть больше, он бы и сам что-нибудь такое написал.

Впрочем, Шолохов, и сам того не подозревая, рисковал, когда дал согласие знатному земляку, выпустившему нового “автора” в литературу. Чрезвычайное обстоятельство, что именно Серафимович — автор предисловия к “Донским рассказам”. И именно с подачи Серафимовича появилась на литературном небосклоне яркая звезда “М. Шолохов”, которая стала неукротимо гаснуть после кончины в 1949 году опекуна и благодетеля (впрочем, ещё надо подумать, кто был в тяжёлейших условиях выживания опекуном. Учитывая происхождение самого Серафимовича, ведь Александр Серафимович был сыном войскового есаула, т. е. полковника царской армии).

Если бы не редкие выезды реального Михаила Шолохова в Москву, не ужасные публицистические “ляпы” последнего — может быть, не возникло бы особенных подозрений. А они возникли, как известно, сразу же после публикации первых глав “Тихого Дона”. Но именно Александр Серафимович прекратил дискуссию...

И действительно:

Чем ещё, как не “подпольным” трудом над крупными произведениями, можно объяснить странный спад в творчестве исключительно одаренного писателя, каким был накануне Октября, даже по признанию литературных противников (например, З. Гиппиус), Серафимович? Небольшая повесть и несколько рассказов за тридцать лет — в самом расцвете таланта и с его-то известной всем трудоспособностью и продуктивностью — не кажется ли это странным?

Куда пропала эпопея, над которой Серафимович трудился, о которой многие вспоминают; сам Серафимович не раз повторял родным и близким, что “Железный поток” — лишь малая часть большой эпопеи, даже большого цикла, у которого было и своё рабочее название — “Борьба”?

Исключительно важными, на мой взгляд, являются — в свете выдвинутой концепции — факты биографии А. С. Серафимовича. Большое место в романе “Тихий Дон” занимают, как известно, польские мотивы. Ни Шолохов, ни Федор Крюков, насколько нам известно, с польским материалом знакомы не были. Серафимович же — что известно из его биографии — жил в Польше: в Польше стоял казачий полк, в котором отец писателя, есаул Серафим Попов, служил полковым казначеем.

Тема первой империалистической войны решена в “Тихом Доне” с такой степенью убедительности, что для всякого думающего читателя должно быть ясно: автор участвовал в этой войне. Но активным участником Первой империалистической войны был Александр Серафимович — и в роли военного корреспондента, а затем и в качестве санитаря (и в этом случае ему удалось попасть на передовую).

И наконец, хотелось бы обратить внимание на вывод, к которому приходит А. И. Солженицын в известном издании “Стремя «Тихого Дона»”, вышедшем в Париже в 1974 г. Александр Исаевич пишет: “Видимо, истинную историю этой книги знал, понимал Александр Серафимович, донской писатель преклонного к тому времени возраста”. (Но мы бы не назвали его возраст преклонным для писателя, если вспомнить самого Александра Исаевича, в каком возрасте он написал “Архипелаг Гулаг” и последние произведения. Впрочем, это, так сказать, оставим за скобками.) Но горячий приверженец Дона “он более

всего был заинтересован, чтобы яркому роману о Доне был открыт путь, всякие же выяснения о каком-то белогвардейском авторе могли только закрыть печатание. И, преодолев сопротивление редакции “Октября”, Серафимович настоял на печатании романа и восторженным отзывом в “Правде” (19 апреля 1928 г.) открыл ему путь”. ещё бы, заметим к этому: Александру Серафимовичу не быть заинтересованным в публикации собственного многотрагического детища, часть которого, первые очерки, он предлагал ещё в 1917 году через Голоушева для публикации в журнале “Русская воля” (материал об этом есть в том же издании “Стремя «Тихого Дона»”).

Если в предложенном здесь ракурсе вновь просмотреть весь материал, опубликованный в своё время в упомянутом парижском издании, имя Серафимовича можно увидит там на всех важных перекрестках истории книги. Он выпустил юного Шолохова в литературу, он же его (и — как мы понимаем — себя) уберег от разоблачения. “Но, — возразят некоторые скептики, — может быть, сам Серафимович «обокрал» Ф. Крюкова?” Подобное подозрение некорректно: Серафимович был, несомненно, более крупным писателем Дона, чем Крюков. Кроме того, не нами доказано, что “Тихий Дон” и “Поднятая целина” принадлежат одному автору (а Федор Крюков скончался от тифа в 1920 г.). К тому же и в “Поднятой целине” легко можно обнаружить ту же злосчастную “визитную карточку” автора, т. е. инверсионный порядок слов (не говоря уже о всех других составляющих). Например: “Сухие губы Нагульнова чуть тронула еле приметная усмешка”, “Раздвоенной диковинной жизнью жил в эти дни Яков Лукич”.

Нам представляется, что такой же раздвоенной диковинной жизнью жил в эпоху диктатуры пролетариата и сам Александр Серафимович. Внешне он играл уютованную ему судьбой роль пролетарского писателя, а внутренне...

А внутренне переживал большую человеческую драму, ведь он остался большим русским писателем-реалистом и ему необходимо было донести до народа художественную правду в условиях жесткой пролетарской цензуры и сталинского произвола.

Конечно, во всем том, что он делал, был риск, и риск — немалый. Но все, кто знал Серафимовича лично, отмечают: “Человек он был действительно бесстрашный, настоящий донской казак, много сделавший для спасения

казачества от полного истребления сталинскими опричниками”. И не автобиографичны ли строки, отнесенные к Григорию Мелехову, которому было “вместно про себя знать, что духом готов он на любое испытание, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь”?

Без сомнения, важен вопрос, как же Серафимович работал над “Тихим Доном”? В какой-то мере ответить на него помогает “Автобиография” Михаила Александровича, также, вне всякого сомнения, подготовленная Серафимовичем, а Шолоховым хорошо заученная.

“Как возник замысел и каковы были основные этапы?” — читаем в “Автобиографии” Шолохова 1932 года и в интервью для “Известий” 1937 года.

“В 1925 году, осенью, стал было писать “Тихий Дон”, но после того, как написал 3–4 п. л., бросил. Показалось — не под силу. Начал первоначально с 1917 года, с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество” — “Автобиография”, 1932.

Сразу чувствуется лукавство — потому что, конечно, “Тихий Дон” был начат не в 25-м, а в 17-м году, но какие-то первые задумки, подступы были, видимо, у Серафимовича ещё в ходе Первой мировой войны, поскольку уже в 1917 году он предлагал Андрееву очерки, достаточно объемные, для публикации.

Тем, кто хорошо знает историю предложения “Тихого Дона” Леониду Андрееву “крупным” донским писателем через Голоушева (С. Глаголя) ещё в 1917 году, должно быть ясно, что речь идет именно об этом первоначальном тексте. И, конечно же, не 12-летний Михаил Шолохов работал над этими очерками, отклоненными Андреевым.

Не менее информативно интервью 1937 года:

“Начал я писать роман в 1925 году (здесь, разумеется, сдвиг на восемь лет: начато, без сомнения, значительно раньше, в 1917 году. — *Автор статьи.*). Причём первоначально я не мыслил так широко его развернуть... Устранялись лишние эпизодические лица. Приходилось кое в чем теснить себя. Посторонний эпизод, случайная глава — со всем этим пришлось в процессе работы распространиться... Включил во вторую книгу “Тихого Дона” куски первого варианта романа”.

Догадливый читатель уже понял, о какой случайной главе идет речь: это, конечно же, — “Железный поток”.

Действительно, совершенно случайная глава — не просто глава, а целый большой кусок, достаточно случайный, который повествует о ходе Таманской армии, написан в несколько ином ключе. Не смог Серафимович включить её в “Тихий Дон” — не захотел?

Так в чем же теснил себя автор — Серафимович? Ну, разумеется, в полной художественной и даже документальной правде, неугодной властителям страны эпохи “пролетарской” диктатуры. Вот откуда и подмеченная “двойственность” романа, выявленная при кропотливом анализе текста “Тихого Дона” рядом авторов.

Подведем итоги:

На основании имеющейся критической литературы по истории вопроса можно с определенной уверенностью утверждать: Шолохов переписывал текст “Тихого Дона” с некоего первоисточника и, следовательно, не мог быть автором “Тихого Дона”. (На эту тему есть работы — Макарова и др.)

Не был автором “Тихого Дона” и Федор Крюков, поскольку тождество текста “Тихого Дона” и романа “Поднятая целина” при строго научном подходе не может вызвать сомнений.

Автором “Тихого Дона”, “Поднятой целины” и всех других литературных “шолоховских” произведений (исключая, конечно, поздние публицистические) мог быть — и без сомнения был — только Александр Серафимович, самый крупный дореволюционный писатель Дона, прекраснейший знаток быта и нравов, разрабатывавший донскую тематику ещё до революции 1917 года; рафинированный интеллигент, имеющий диплом Санкт-Петербургского университета, прекрасно владеющий словом, превосходивший многих одаренных русских писателей своего времени, автор по-настоящему интересных романов, имеющий богатейшую биографию, прошедший дорогами Первой и Второй мировых войн.

На наш взгляд, и “Поднятая целина” — для своего времени смелое, а в художественном отношении — достаточно крупное произведение.

В авторстве убеждают сами тексты, сюжетные линии, характеры героев произведений Серафимовича, ничем практически не отличающиеся от текстов и характеров героев “писателя” Шолохова.

Конечно, несколько уступают этим двум романам роман “Они сражались за Родину” и рассказ “Судьба человека”. Но если принять во внимание, что писателю, родившемуся в 1863 году, во время Второй мировой войны было уже за 80 лет, становится понятным, почему Шолохов перестал расти. Так разрешается и одна из крупнейших литературных мистификаций XX века.

Так решается, на наш взгляд, проблема творчества М. А. Шолохова».

Пожалуй, статья эта могла бы пройти и незамеченной, поскольку в то время появлялось много различных мнений и предположений об истинном авторе «Тихого Дона», но Таланкин на этом не успокоился и, несмотря на погромные рецензии истинных «шолоховедов», опубликовал ещё две статьи в таком же духе.

Так возникла насущная необходимость разыскания, наконец, подлинной рукописи «Тихого Дона». Рукопись надо было найти обязательно к 100-летию великого Михаила Шолохова, сумевшего, по оценке ряда беспристрастных специалистов, написать роман сильнее Толстого и Достоевского вместе взятых. Не все критики с этим соглашались, но после того как власть решила пышно отметить юбилей вешенского гения всякие научные поиски притихли. Не унимался только Пожарский. Он всем тыкал в нос полную идентичность художественных текстов Серафимовича и Шолохова, указывал специалистам на «визитную карточку» Серафимовича — оригинальное построение фраз и тому подобную ученую белиберду. Наконец так всех достал, что в числе прочих главных фигурантов решили проверить и его шизофреническую версию об авторстве компьютерным способом.

Выводы математиков-лингвистов очень обидели «шолоховедов». Профессор СПбГУ Матросенко поздравил Таланкина с открытием века и посмел утверждать в печати, что Таланкин прав. Не учел профессор-математик только одного: не наука и таланты правят в России, а вера народная. Народ же продолжал верить, что Шолохов, и только

он, плоть от плоти русско-украинской иногородней массы мог стать автором великого казачьего романа. Ну и что, что не было у него никакого образования и молод был, что казак никогда не был, зато — наш. А Серафимович — тот чистый казак, с тем ещё надо разбираться. Слишком уж он учен, не годится. Нет тут чуда, если Серафимович — автор. А вот, если Шолохов, — тут чудо живое и явленное. К тому же чудо это веселое, со слабостями. Он и пил, и курил, и женщин любил, и охотником заядлым был, и в рыбалке разбирался, и говорил коряво. Но зато писал — как пел. Не важно, что никто не видел, как он писал «Тихий Дон», не важно, что не знаком был с реалиями Первой мировой войны и прочими подробностями романа. Менделеев вон целую таблицу во сне увидел. Тот, правда, профессором был, но это тоже — не важно. Если профессор может, значит и неграмотный человек из низшего сословия тоже может.

Не Боги горшки обжигают.

В общем, ничего у профессора Матрусенко с Пожарским-Таланкиным не получилось. Зря они со своей наукой высунулись. Забыли бессмертное изречение классика: «Мы ленивы и нелюбопытны». Не надо нам Серафимовича, хотим Шолохова. Это круче. Это все равно, как если бы гармонисту симфонию Чайковского или Римского-Корсакова сочинить. А что, наши гармонисты на все способны, им только гармонь в руки дай и на круг выпусти, да ноты предоставь на день другой, чтобы основной мотив поймать. А там — знай наяривай. Начальству понравится.

Само из народа.

Пожарский, правда, тоже был из народа, но, видно, переучился. Вот его и заклинило. Не мог-де Шолохов такую эпопею написать. Да наши люди все могут, им только прикажи.

Луну с неба достанут.

Так достали и рукопись «Тихого Дона». Не беда, что при ближайшем рассмотрении рукопись оказалась не вполне рукописью, а той самой подделкой, которую Шолохов

вместе с супругой переписывали ещё по молодости, когда впервые разговоры о не вполне честной игре пошли. Сам президент (тогда ещё премьер-министр) выделил на покупку псевдорукописи 50 тысяч долларов из государственной казны. А после этого кто будет говорить, что рукопись — поддельная. Если бы выделил миллион, было бы ещё убедительней, но референты не посоветовали: подозрительной им эта рукопись показалась. Потому сам Шолохов её и не представлял. Не решался. А шолоховедам терять было нечего. Они представили.

И только Пожарский упорствовал, твердил, что истина дороже, что и президент-де может ошибиться, поскольку не специалист, а политик. Правильно, политик, а политик — он чувствует, чего народ ждет.

Народ же, как всегда, ждал явного чуда.

Ждал явления рукописи.

Вот ему и дали чудо. Не настоящее, конечно, а поддельное, но — какая теперь разница.

Особенно доволен был лидер коммунистов Геннадий Жиганов. Дело в том, что рейтинг его партии неуклонно шёл вниз, поскольку народу не нравилась его нерешительность и сотрудничество с олигархами. А тут появилась возможность лишний раз напомнить о том, какую глыбу воспитала Советская власть в лице Шолохова, ведь только при ней из простого полуграмотного безработного иногороднего батрака мог вырасти писатель-казак, сравнимый с Гомером и Шекспиром, как писал один солидный литературовед, член партии с 1949 года.

Михаила Пожарского, этого злостного «антишолоховеда», если бы вернулись старые времена, надо было бы отправить на Соловки, судить открытым судом, чтобы другим неповадно было разбираться в проблеме...

Но времена были другие.

Другие совсем были времена. И они Жиганову не нравились. Не нравились они и Пожарскому. Но, конечно, совсем по другим причинам, чем Геннадию Жиганову.

Совсем по другим причинам. Ему хотелось истину установить и народу правду сказать, а Жиганов вместе с членом партии с 1949 года хотели эту истину похерить. Хотели, чтобы народ и дальше пребывал в заблуждении.

«Не получится», — убежденно говорил Пожарский, и Каликин был с ним согласен. Правда — она, как шило в мешке, её не спрячешь, в землю не закопаешь и в воде не утопишь.

В XX веке пытались, да не вышло. Провалился у них эксперимент над русским народом. И теперь все провалится, каких бы там опричных движений типа «Наши» не создавали.

Эти «Наши» при ближайшем рассмотрении были во все не наши. Вместо того чтобы в жаркую сенокосную пору помогать селянам в сушке сена и заготовке кормов для скотины, они разъезжали за чей-то счет по стране и отдыхали на природе в красивых уголках России. Особенно им понравилось озеро Селигер, где у них состоялась историческая встреча с президентом России.

После этой встречи местные жители ещё долго пытались навести порядок на месте стоянки веселых туристов. А потом махнули рукой.

Разве за тысячей бездельников удержишь? Пусть так перегнивает. Опять же звери, птицы, а также бомжи какое-то пропитание в этих отбросах найдут. В общем, нехорошую славу о себе оставили «НАШИ» на знаменитом озере Селигер. Очень даже нехорошую.

Ну, да могло бы быть и хуже, помнили ещё старики деревенские других наших, которые из городов приезжали и деревню раскулачивали.

Отбирали, то есть, одежду и пропитание.

«Тоже наши были. А чьи же ещё?» — с горечью думал Каликин и живо представил главаря «наших» в чекистской кожанке и с маузером на боку — копию Николая Островского.

Почему-то стало страшно.

ГЛАВА 9

ДУЛЬСИНЕЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Жена нашего героя, Дульсинея Петербургская (как он её для себя понимал), была во всех отношениях женщина необыкновенная. В то время как Иван Михайлович проводил время в борьбе за правое дело над страницами своих бессмертных рукописей, а также в постах, молитвах, паломничествах и крестных ходах по святой Руси, она должна была вести немалое хозяйство и думать о воспитании и пропитании семерых детей. Разумеется, благородный Каликин и сам об этом денно и ночью думал. Но все же он думал об этом скорее теоретически и молитвенно, а практической стороной жизни интересовался по мнению Дульсины Новой недостаточно. Каликин с таким мнением своей супруги был категорически не согласен. Напротив, он полагал, что дает на хозяйство слишком много из зарабатываемых им каторжным трудом денег, совершенно ничего не оставляя на книги, которые необходимы всякому благородному человеку так же, как неблагородному — телевизор и громкая африканская музыка «бесотрясок» (так он называл дискотеки и ночные бары Санкт-Петербурга, а также других мировых столиц).

В этом собственно и было единственное непонимание между супругами. Во всем остальном у них была полная идиллия, хотя Каликин и не мог согласиться с мнением великого Льва Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга.

Классик в этом вопросе явно перегнул палку.

Дульсинея кроме хозяйства занималась и благородным трудом. Она тоже любила читать, писать, завершать за нерадивых студентов дипломные работы (разумеется, бесплатно).

Иногда писала и правила текст диссертаций по русской литературе, откликаясь на просьбы каких-нибудь

догадливых иностранцев. За эту работу уже можно было что-то заработать на хлеб насущный.

А что ей было делать, когда новая российская власть практически отказалась субсидировать высшую школу, взяток она брать не научилась, а оклад старшего преподавателя, кандидата благородных филологических наук едва-едва превышал сто у. е. — знакомое сокращение как для благородной, так и для неблагородной публики.

Благородными Иван Михайлович почитал тех людей, кто не кичился своим происхождением, не бил себя в грудь, доказывая всем и каждому, что он как раз и есть самый эстонистый эстонец из всех эстонцев на свете.

Сам же Иван Михайлович был наследником древнего Рюрика по прямой. Таковой во всяком случае была семейная легенда. И ещё совсем недавно в той замечательной местности, на древней ладожской земле, жили люди, которые могли бы это подтвердить. Сейчас же этих живых свидетелей, то есть настоящих аборигенов, на его родине никого не осталось. Документы были все сожжены в годы борьбы с Рюриковичами. Впрочем, и без всяких бумажек, которых нынче неблагородные люди изготовили в большом количестве, видно было его старокняжеское происхождение. Не исключено, правда, что легенда о Рюрике имела только фантастический характер и появилась потому только, что Рюрик, как известно, основал первую столицу Руси как раз в Ладоге. А предки Ивана Михайловича по отцовской линии все проживали испокон веков на древней ладожской земле. Может, и придумал кто-то из предков эту историю... Да и какая теперь разница, когда Рюриковичи все давно, ещё в первую Смуту (то есть при Годунове и Лжедмитрии), упразднены. Каликин не любил тывать всем в нос своё особо благородное происхождение, а чтобы не стеснять людей говорил только, что происхождения он самого обыкновенного — рабоче-крестьянского. И в определенном роде это было правдой, поскольку и отец, и мать его в годы советской власти трудились

на благо отечества, не покладая рук. По материнской линии предки все были тоже древние новгородцы, проживавшие в окрестностях древнейшего города Каргополя Архангельской губернии. Были ли они потомками Рюрика, или Синеуса, брата Рюрика, про то неизвестно, но в любом случае они были исключительно благородными людьми, потому что никогда и нигде своих дворянских грамот не заказывали — нужды не было. Никто до советской власти на права северного крестьянства не зарился, и вели они вполне свободный, по сравнению с колхозно-советским, образ жизни. Крепостных ни на Ладужской, ни на Каргопольской земле не было, и потому, видимо, не было в Каликине той жгучей ненависти к проклятому царизму, которую разжигали в народе все семьдесят лет Советской власти. На Романовых он, как старорюрикович, смотрел, конечно, свысока. Впрочем, так точно и все жители земли новгородской смотрели когда-то на москвитов, пока те не пришли с татарами вместе и не отменили этого превосходства. Грубовато они поступили, конечно, много и невинных новгородцев пострадало — ну да что сделаешь, надо было Московскую Русь строить.

Поправили Рюриковичи и хватит, пусть другие теперь порядок на Руси наведут.

Больше трехсот лет правили Романовы.

Правили много лучше пришедших им на смену революционеров, но порядка так и не навели.

Впрочем, все это увело нас в сторону от главного, а точнее, главной — Дульсинеи Петербургской, или — Татианы Евгеньевны Блиновой. Предки Татьяны Евгеньевны как раз и происходили из энергичных москвитов, а точнее из дворян земли воронежской. На родине предков Ивана Михайловича предки Татьяны Евгеньевны появились, судя по ряду свидетельств, вместе с грозным царем московским — Петром I. Вскоре после того как Петр убедился, что никто из скрывававшихся в северных лесах новгородцев не собирается возводить на трон кого-нибудь из старорюриковичей,

он решил основать на границе земли новгородской новую столицу. А, может, потому и основал, чтобы не вздумали затаившиеся в лесах да болотах рюриковичи на трон царский претендовать.

Особенно — один из них, который принял образ калики перехожего и то там, то сям появлялся и народ смущал. Петербургу, стращал, быть пусту, царь-де Петр — антихрист. Так и не поймали его тогда, по воде аки по суху уходил, тайные тропы знал и даже иностранцем прикидываться умел. Кто такой был — до сих пор неясно, но кто-то из Рюриковичей — это-то уж точно.

«Ладно, — решил Петр, — проучу я вас всех. Вы все Рюриковичи будете у меня в ногах валяться, потому что выше царя московского никто из вас не взлетел. А я буду Императором».

И стал Петр императором.

А уж против императорской власти слабо было истинным рюриковичам выступать. Потому как всякая власть — от Бога, а императорская — та особенно.

Поэтому слухи о том, что революцию 1917 года в России с помощью большевиков готовили рюриковичи — наглая ложь. Рюриковичи к тому времени все сосредоточились в Лодейнопольском уезде Олонецкой губернии, по берегам реки Свири, а также — Ояти. По Ояти жили ещё вепсы, но поскольку было их немного, и они своё древнее людоедство давно оставили, жизнь здесь текла мирная. Ни вепсы древних рюриковичей не обижали, ни рюриковичи — вепсов.

Когда грянула революция 1917 года, предок Ивана Михайловича владел в деревне Великиничи большим домом и немалыми земельными угодьями, но вел обычное крестьянское хозяйство. Отсюда можно заключить, что не был он, стало быть, Рюриковичем...

А вот и нельзя, поскольку энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона свидетельствует: «В лодейнопольском уезде большое количество дворян, ведущих образ жизни

ничем не отличающийся от крестьянского». Брокгауз не уточняет, конечно, что это были за дворяне. И так понятно. Рюриковичи и были. А кто же ещё?

Остальных-то дворян Петр с Екатериной пригрели, а уж конкуренты — сами выплывайте, да радуйтесь, что вы в живых остались. Поселения свои рюриковичи называли с окончанием на «ичи» — ну, например, Великиничи, Гонгиничи, Игокиничи, Тервеничи. Главным из них было поселение Великиничи. А главным оно являлось уже потому, что находилось на самой высокой горе. А кроме того все самые видные рюриковичи отсюда происходили. Располагались эти Великиничи выше известного села Алёховщина. Название села — исторически трансформировавшееся. Когда-то, в седой древности, поселение это называлось Олеговщина. И именно здесь был похоронен вестий Олег, а вовсе не под самой Ладогой, как ошибочно полагают современные археологи, бесплодно разыскивающие захоронение Олега, горделиво забывшие обратиться за справками к старым олеговщинским Рюриковичам.

Такие вот подробности часто слышала Дульсинея Новая от мужа своего и не очень-то доверяла этим рассказам, пока однажды сама не открыла Брокгауз и не прочла там всю правду о Лодейнопольском уезде.

И вот что она там прочитала:

«Лодейнопольский уезд (Брокгауз и Ефрон. Т. 34. С. 904)

...Большую часть населения уезда составляют великорусы, потомки новгородских колонистов, поселившихся на берегах Свири и отчасти Ояти уже в XII столетии...

Большинство довольно многочисленных в Лодейнопольском уезде дворян (происходящих от боярских детей новгородских митрополитов) ничем почти не отличается от крестьян и часто живет беднее последних».

С тех пор Дульсинея поняла, наконец, некоторые странности своего мужа: например, устойчивую нелюбовь к мытью посуды и хождению по магазинам. Старорюриковичам это и действительно не к лицу, на то слуги имеются.

Когда же она пыталась напомнить о своем дворянском происхождении и даже показывала каким-то чудом сохранившуюся дворянскую грамоту, Иван Михайлович невозмутимо отвечал, что северные рюриковичи московитов за дворян никогда не признавали, а все грамоты времен Петра и Екатерины стоят столько же, сколько и новоделные, ныне сочиненные за грязные нефтедолларовые купюры хитромудрыми геральдистами.

Иногда это заканчивалось слёзами Дульсиinei Новой, и тогда уж Иван Михайлович стоически мыл посуду, живо представляя как его предок из славного рода истинных старших Рюриковичей (не уехавших как младшие в Киев) проходил по воде аки по суху и, ускользя от преследователей, не брезговал выражаться по-иностранному, то есть занимался не своим делом.

ГЛАВА 10 ПЕРЕСЛАВИН И РОМАН ВЕКА

А тем временем Николай Переславин упорно сидел за компьютером и сочинял роман века. Настроение было паршивое, а главный герой, замаскированный под циничного режиссера — конечно же, он, Гладышев этот, лицемер проклятый, всю жизнь свою проживший по двойным стандартам.

Рукопись Николай закончил через три недели после того, как узнал о подлом замысле литературного начальства оставить его, Переславина, за бортом серьезного литературного заказа. За две–три недели эпопеи, конечно, не напишешь, но поскольку под рукой были давние заготовки, а также супруга немного помогла, то вещь получилась очень даже неплохая.

Будет не стыдно предъявить читательской массе.

Заключительный отрывок из романа Переславина, дающий представление о всем полотне, автор этих строк посчитал необходимым вставить в ткань своего повествования.

«ЮБИЛЕЙ»

«В чем было дело он не мог объяснить себе внятно. Все вроде бы было хорошо. Юбилей, можно сказать, удался. Поздравляли все. И поздравляли от души. Кто-то, конечно, и чересчур уж расхваливал и превозносил, но ведь это понятно. Ведь все-таки — дата круглая. Семьдесят, как никак. А это — не тридцать–сорок, это уже и вся жизнь позади.

Да... жизнь.

Жизнь, которая, как верно заметил один его старый приятель, сложилась.

В общем-то, и действительно, сложилась. Занимался он своим делом давно: уже больше сорока лет. Зубы, можно сказать, съел на этой профессии.

Или — призвании?

Вот именно — или...

Он понял, наконец, что подспудно беспокоило его, сосало, что называется, под ложечкой...

Это было это — или...

Было ли то, чем он занимался почти всю свою сознательную жизнь действительно его призванием? Его ли это было? Об этом ли он мечтал когда-то в юности, в ранней молодости?

О том ли, чтобы стать тем, кем, в конце концов, стал?...

Да, он модный режиссер. Можно сказать даже известный. И, может быть, почти знаменитый.

А почему собственно — почти?..

Просто — знаменитый. Правда — не всемирно. Ну, разумеется, не всемирно. Но ведь быть всемирно известным режиссером мало кому и удастся. Да и зачем быть известным всемирно? В общем-то достаточно быть почитаемым у себя на родине.

Хотя у себя на родине — это чересчур сильно сказано...

Ту страну, в которой он родился, жил и творил, он никогда не воспринимал как свою духовную родину. Когда-то, ещё в юности, он понял, что ему глубоко чужда эта непонятная страна. Его пугали эти дикие пространства, грубые нравы, варварские пляски и пьяная гармошка...

Азиатчина какая-то. Дикость. Невежество. Мат. Крепостная покорность судьбе.

Со всем этим он всю свою сознательную жизнь боролся. Как мог, разумеется.

Да, как мог.

И, в общем, он имел право смело сказать, что у него нет родины в традиционном понимании этого слова. Он всегда, даже в условиях тоталитарного режима, был космополитом. Не по рождению, а по духу, разумеется. По рождению он был москвичом, по социальному происхождению... да не имеет это никакого значения. Какая разница,

чем там занимались его родители, когда их давно уже нет на свете, да и могилы их он так давно не посещал, что вряд ли найдет те бугорки земли, которые скрывают тела давно погребенных, ничего в этой жизни, кроме московской прописки, не добившихся бывших крестьян из Подмосковья.

Родители его — дети раскулаченных и канувших в метели коллективизации тверских крестьян. Он в своё время, когда поступал в институт, боялся, что кто-нибудь докопается до его не вполне благонадежного происхождения. К счастью — не докопались. А может, и докопались, но до времени решили не трогать. А потом время ушло. Другой ветер подул.

Ветер перемен.

Сколько он, этих ветров, на своем веку видел.

Сталинщина. Хрущёвщина. Брежневщина.

Горбачёвщина. Ельцинщина. Теперь вот — Пугинщина.

А он, как всегда, на плаву. Всегда на пике. Всегда — впереди.

Сколько неудачливых конкурентов уже смыто холодными волнами бесконечных перестроек. А он не утонул. И будет на плаву, пока жив. Потому что давно понял главную суть успеха в своем деле: шуми и скандаль.

Не прощай ей, этой толстопятой стране, её забитости и убогости, кусай ее, чем злее, тем надежнее. Она это любит. Ей это нужно почему-то. Ей нравится, когда её бьют и когда об нее ноги вытирают. Есть в ней эдакий глубокий садомазохизм, лошадиная тоска по хлысту. Впрочем, сам он был мастером не только хлыста, но и пряник вовремя дать умел.

Не только кусал, но и веселил, когда нужно было. Его водевили ублажали публику самого разного сорта. Конечно, они — не высокий жанр, но кому в этой стране понятен высокий. Никому. Ну, может быть, десятку-сотне зрителей. Но не для горстки же ценителей трудиться, в конце концов. Не для элиты. Да и элита здесь совсем не та, которая что-то понимает. Здесь другая элита. И эту, тупую,

заплывшую жиром элиту, он презирал ещё более глубоко, чем всю эту безалаберную, огромную и крайне неповоротливую страну. Порой он с тоской думал: ну почему ему так не повезло? Почему его угораздило родиться здесь, среди этих холодных просторов, бессмысленных плакатов с призывами кого-то там догнать и что-то перевыполнить, с этой нескончаемой лихорадкой какой-то псевдодеятельности и, в конце концов, ничегонеделанья.

Ведь мог же он родиться где-нибудь в деловой Англии, или целеустремленной Германии, в богатой Америке, или на худой случай — в Чехии... Но его угораздило родиться именно здесь... На этой 1/6 части земли, этой палате № 6. Может, за это он и не любил своих родителей, потому и не навещал их могил, что не мог простить им этой ошибки. Потому же он не верил и в Бога. Нет, публично он против Него никогда не выступал. Он просто не верил как-то тихо, глубинно, с легким презрением относясь к тем из своих знакомых, кто ходил по воскресеньям, субботам или пятницам в христианские храмы, синагоги или мечети. Пожалуй, буддизм ещё имел для него какой-то смысл, но и там надо было соблюдать какие-то табу, а он не любил себя ни в чем ограничивать.

В своё время, когда это было актуально, он даже поставил один спектакль богоборческого содержания, но вовремя сумел понять, что публике он чем-то не понравился. И тогда он сам убрал этот спектакль из репертуара своего театра. Зато теперь даже его старые злопыхатели не могут вставить лыко в строку. Снова, в который уже раз, — чист перед очередной революционной властью. Вот что значит вовремя найти золотую жилу. Куда бы он без нее — без этой золотой жилы, от которой он кормился и кормится, и будет ещё лет десять–пятнадцать кормиться...

Да ещё лет десять–пятнадцать...

Стоп, стоп. ещё лет 10–15... И — только? А что же потом? Потом-то что же?

От этого вопроса ему становилось немного не по себе. Нет, внешне он никогда не подавал виду, что боится смерти. Но внутренне...

Внутренне он не был к ней готов. Он испытывал подлый страх, когда начинал думать о ней — о смерти.

В такие минуты он завидовал тем ограниченным людям, что ходят в христианские храмы, синагоги и мечети и почему-то спокойно относятся к тому, что когда-нибудь и их тела зароят в землю, как зарывали миллионы их предшественников. Блажен, кто верует...

«Действительно, им легче на свете», — с тоскливой завистью думал он в те минуты, когда змеи неверия остро вгрызались в его мозг, высасывая из него жизненные силы.

В такие минуты он обычно напивался. В последнее время все чаще пил в одиночестве. Друзья как-то давно и незаметно отошли от него. Или — он от них. Да, пожалуй, он от них. О некоторых из них ему просто даже неудобно вспоминать. Некоторым он давно уже не подает руки. А кого-то уже и нет на этом свете, как, например, ближайшего школьного друга Николая, в своё время удивившего его тем, что после школы поступил в военное училище, а не в институт, как большинство его одноклассников. А ведь был из интеллигентной семьи.

И где он теперь? Десять лет уже нет на свете. Вдова говорит, что вертолет разбился где-то в горах Грузии, когда Николай (пенсионер уже) перевозил гуманитарную помощь в какое-то пострадавшее горное селение. То ли чеченцы подбили, то ли в тумане налетели на скалу — никто точно ничего не знал. Да и какая разница — Кольку все равно не вернешь.

Да в последние двадцать лет они уже и виделись-то раз в год, когда Николай приезжал домой и звонил ему иногда, поздравляя с очередной удачной постановкой. Николай, судя по всему, редко бывал в театрах, но все его спектакли знал, и они ему нравились. Конечно, мнение какого-то там летуна для него, известного режиссера, мало что значило,

но все же было приятно осознавать, что и в народе его ценят. «Интересно все-таки получилось, — не без внутреннего удовольствия отмечал он: — Николай совсем опростился, слился с народом, а ведь был интеллигентом не в первом поколении. А он... он стал интеллигентом рафинированным, во многом законодателем моды, арбитром в области вкуса. Словом — поднялся над толпой, над этим быдлом, ради которого революционеры разных мастей совершали революции...»

Впрочем, совершали, конечно, для себя любимых, ну да ладно, что там об этом...

Все равно ведь его-то лично, его известного режиссера не спасает это от глухой и неизбежной кончины. ещё лет десять-пятнадцать, а там... Мрак. Неизвестность.

Да и кто собственно гарантировал эти 10–15... Какая такая фирма?

Может, завтра стукнет по темечку и все — приехали, уважаемый. И что останется?

Куда денутся все эти многочисленные поклонники и поклонницы, все эти почетные адреса, все эти слова признательности, в которых скрыты фальшь, лесть, страх перед маэстро, стремление и о себе напомнить...

Словом — суета сует человеческая.

Порой он ловил себя на мысли, что завидует покойному другу Николаю. Ведь как просто: хлоп об скалу — и нет тебя. А тут смерди, жди своего часа, своего Загиба Петровича, как выражался его покойный отец-крестьянин.

Когда и как он придет?

Режиссер отогнал прочь эти тяжёлые мысли. Хандра... вот ведь привяжется тоже. Все ведь совсем не плохо. Впереди такие дали сияют, только успевай поворачиваться. Все вообще хорошо. В финансовом плане — просто прекрасно. Его театр получил помощь из-за рубежа. А это — твердая валюта. А она что-нибудь да значит в современных условиях. Это, как раньше партбилет, — пропуск в бессмертие. И выдают эти блага не всем. Далеко не всем. Ему вот

выдали, даже закрыв глаза на яркое партийное прошлое. Впрочем, он и сам с ним, с этим прошлым, рассчитался, спалив красную книжечку и высыпав пепел в унитаз. Прощайте годы унижений и заискивания, вранья, годы, за которые ему стыдно иногда перед самим собой. Не перед другими, нет. Ничего кроме презрения он не испытывал к этим другим, которые вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратились в борцов с тоталитарным режимом, как только это стало безопасным. Он-то хорошо помнил этих вдохновенных беспартийных «борцов», послушных исполнителей великих предначертаний партии и правительства, подхалимов, готовых перегрызть глотку друг другу за любую подачку с начальственного стола. Именно эти новоявленные «борцы» больше других писали в органы, стучали на ближних и дальних, чтобы выбить себе какие-нибудь блага. О, как же он презирал эту публику, как ненавидел эту жадную толпу, всегда готовую кричать то, что угодно было другому режиссеру, более могущественному, чем он сам...

Юбилей...

Да гори он огнем этот юбилей, со всеми этими речами, в которых так мало правды и так много лести. Пропади она пропадом эта публика, эта страна — он не заплачет. Жизнь ушла под откос.

Его драгоценная, его непостижимая, его единственная, один только раз данная. Всё. Нет её. И больше никогда не будет. А что останется после него? Что останется? Два-три спектакля, которые едва запомнились этой тупой, этой толстокожей, вечно жаждущей развлечений публике. Дочь, которая разводится уже с третьим мужем и давно живет своей непонятной жизнью в Штатах. Сын-алкоголик, из которого ничего не вышло и уже никогда не выйдет.

За что? За что ему все это? За что ему досталась эта глупая королева-жена, которую он едва терпит и уже не раз изменял ей с актрисами своего театра. Кто так зло посмеялся над ним?

Нет, всё. Бросить всё это к чертовой бабушке. Уехать отсюда прочь, навсегда. Куда глаза глядят. Чтобы только не видеть этих лиц-рож. Не слышать этих скучных острот.

Не работать на потребу...

Куда-нибудь подальше от столицы. Этой глупой деревни-столицы. Ах, если б где-нибудь только ждали... А то ведь и не ждут. Никто не ждёт. Ну, конечно, пока есть деньги, можно будет погостить у дочки в Штатах или подлечиться в Германии, где у него был старый приятель-врач, давно приглашавший пройти курс лечения на льготных условиях. Можно в конце концов спрятаться на даче. Отключив телефон, пить до чёртиков. Но от себя-то все равно не сбежишь. Сам себя всё равно настигнешь, и опять пойдет этот нелюбезнейший разговор с самим собой. И снова окажется, что ничего за душой кроме этого дутого торжества, этого юбилейного мероприятия, от которого воротит.

Просим, просим, маэстро!

Аплодисменты вывели его из состояния мрачных раздумий. Юбиляр встал, привычно поклонился публике и произнес яркую, надолго запомнившуюся театральную Москве речь.

...

Смерть настигла его внезапно. После двухнедельного отдыха режиссер возвращался с дачи и на крутом повороте не справился с управлением. Похороны были пышными. Вдова неутешно рыдала. Сын стоял хмурый и задумчивый. Дочь из Штатов прислала трогательную телеграмму соболезнования матери и брату. Ученики и коллеги над могилой клялись продолжить дело своего учителя. Отпевания не было, поскольку режиссёр не исповедовал никакой религии.

Через два года о нём все, кроме ближайших родственников, позабыли.

* * *

Покончив с Гладышевым, Переславин по своим каналам доставил рукопись Душкову и другим заинтересованным лицам. А Гладышу (так уничижительно он его за глаза называл) рукопись была преподнесена, как работа давнего знакомого Переславина литератора Правдина. Пришлось пойти на литературную мистификацию.

А что делать, когда с такой гнидой общаешься, бушевал Переславин в узком семейном кругу и терпеливо ждал, когда же наконец поступит гонорар.

В том, что гонорар получит именно он, а никто другой, он почти не сомневался, поскольку кроме него в Москве некому было написать настоящий роман века.

ГЛАВА 11 КАЛИКИН И РОСИНАНТ

Как и полагается всякому истинному «рюриковичу», Каликин ценил все, что связано со Скандинавией.

У него был один старый приятель, ещё по литературному объединению «Нарвская застава», который тоже намекал на то, что является одним из потомков небезызвестного Рюрика, и поэтому сочинял иногда саги, а также переводил стихи норвежских поэтов. Как ему удавалось это совмещать с государственной службой в правительстве Петербурга, Иван Михайлович представить себе не мог. Но тем не менее Евгению Лугину это удавалось и в общем-то успешно.

Лугин во всяком случае был доволен.

Ясно, что литературным критикам не нравилось то обстоятельство, что официальный чиновник пишет стихи и даже романы, и поэтому они не очень-то выделяли Лугина из общей пишущей братии. А зря.

По мнению Ивана Каликина Лугин был очень перспективный поэт и литератор. И писал он вполне на уровне.

Но даже не за литературу особо ценил Каликин Лугина, а за идею. За скандо-византийскую идею, которой придерживался ещё покойный академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, и которую истинные рюриковичи противопоставляли явно надуманной евразийской идее. Суть идеи была очень проста и сводилась к тому, что знаменитый «путь из варяг в греки» надо понимать не только в географическом плане, но ещё более — в духовном. Варяги, призванные славянами поправить у них, с их помощью двинулись на Византию и, разбив христиан, были поражены красотой и благолепием богатейшей империи. Потрясённые они решили вернуться на Русь и обустроить её, как и призывал один из их скальдов, прапрапредок Евгения Лугина, по образу

и подобию древней Византии. Так возникла Киевская Русь и отец городов русских — Киев (который иногда неправильно называют матерью, ведь Киев — явно мужского рода).

Так что попытки навсегда отколоть Украину от России обречены на провал и выявляют полную безграмотность и некомпетентность сторонников так называемой «незалежной» идеи. Ни отец, ни мать родная от детей своих никогда не откажутся. А уж дети-то как тоскуют в разлуке по родителям — тут и спорить не о чем.

Поэтому-то скандо-византийская идея и является наиболее продуктивной из всех идей кипящих и варящихся в собственном соку на постсоветском пространстве. А что касается так называемой евразийской идеи, то именно она и потерпела поражение в августе 1991 года, ибо главным носителем евразийства был самый кровожадный тиран всех времен и народов — Ульянов-Ленин. В том, что он был адептом евразийства, нет сомнений, ибо тиран этот сразу же стал бороться с благолепием храмов, икон, обрядов и праздников Русской православной церкви. Именно Ленин приказал отбирать всё, что можно и нельзя у крестьян и вообще всех зажиточных и состоятельных людей для нужд нового правящего класса — советской бюрократии или новых богдыханов. Не случайно и многие китайцы воевали тогда в рядах так называемой Красной Армии. Воевала она, конечно, неплохо, но по-евразийски жестоко и вовсе не так, как потом показывали в облагороженных фильмах.

Вовсе не так.

А так примерно, как и татаро-монголы, когда захватывали древнерусские города. Те, кстати, храмов разрушили меньше, чем евразийцы-ленинцы.

Евразийцы мечтали разрушить все храмы, чтобы на их месте построить каких-нибудь новых сооружений в духе евразийской архитектуры, но война 1941 года этот процесс остановила.

После войны ещё какое-то время Сталин думал о том уроке, который получил в 1941–1945 годах. Но потом

постепенно забыл героев и полководцев, которым он был обязан своей жизнью.

Снова пошли аресты, расстрелы и ссылки — вполне в духе дикой евразийской жестокости

Сослали и Георгия Жукова, яркого сторонника скандо-византийской идеи и главного организатора всех крупных побед русского оружия, которые незаметно и хитро присвоил себе евразиец Сталин.

Вот, говорят, Сталин внёс большой вклад в Победу...

Каликин внимательно прочитал воспоминания Жукова и не заметил этого вклада. А Жукову он доверял, поскольку пострадавший и православный человек врать не станет. К тому же Жуков тоже был из Рюриковичей. Это — точно.

В этом и не может быть никаких сомнений, поскольку умение воевать и управлять войсками рюриковичи восприняли от своих далёких предков на генном уровне.

А то, что родился Жуков в Калужской области, а не на севере, не имеет принципиального значения, ведь рюриковичи постепенно разошлись по всей России.

Всё вышеизложенное было только лирическим отступлением, призванным объяснить, почему из всех марок машин Каликин предпочитал скандинавские модели.

Так однажды был приобретен достойный автомобиль «Вольво-универсал» 1981 года выпуска.

Старенькая, конечно, лошадка, а точнее — боевой конь, но очень упрямый и упорный. За свой оригинальный характер автомобиль этот получил почётную кличку — Росинант.

На своем Росинанте Каликин бывал в различных уголках северной Руси, а больше всего, конечно, в благословенных уголках родной ладожской и онежской земли, где, как известно, самые чистые старорюриковичи до сих пор и проживают.

Тут придирчивый читатель может заметить некий эклектизм и странность, почему вдруг испанское название

у скандинавского коня. Но, по мнению Каликина, ничего странного и эклектичного в этом нет, достаточно вспомнить то обстоятельство, что варяги достигали не только Византии и Сицилии, но и с маврами воевали, как и славные испанские рыцари. Так что мы видим тут живой пример духовной составляющей бессмертного выражения «из варяг в греки».

Так и стал Росинант из варяга греком, а может, и испанцем. Ну, да какая теперь разница, когда греки стали чемпионами Европы по футболу, а испанцы — испанцы! — нет. Каких чудес только не бывает на свете.

Вообще-то футбол Каликин не очень жаловал. Нет, красивый футбол он, конечно, любил, как и вообще всё красивое. Не любил он плохой футбол и неблагородное поведение проигрывающей команды.

Недостойно это было и стыдно за плохих игроков. Мало того что проигрывают, так ещё и неблагородство своё демонстрируют. А неблагородных людей Каликин презирал. Особенно же тех, кто всячески демонстрировал своё хамоватое превосходство — как, например, Трумэн, когда разбомбил Хиросиму и Нагасаки.

Говорят, он морально хотел врагов подавить...

Ну так и сбросил бы тогда бомбу для демонстрации там, где мирных людей поменьше.

Вообще-то все бомбы, ракеты, танки и прочее современное оружие не вызывали в душе Каликина никаких добрых чувств. Не то чтобы он был пацифистом, но после службы в армии армейская служба утратила для него тот романтизм, который имела до непосредственного соприкосновения.

А лучше всего конфликты разрешать честным рыцарским турниром.

Сначала, конечно, разобравшись, а стоит ли копыя ломать...

Сколько погублено жизней благородных рюриковичей по элементарной неразберихе и недопониманию.

Ну, например, Лермонтов с Мартыновым — два достойных офицера, а всё же договориться не смогли.

Один, правда, стоял за скандо-византийскую идею, а второй — за евразийскую...

Лермонтов, само собой, — за скандо-византийскую, поскольку предок его — тоже из варягов, в Англии осевших.

А сын того лермонтовского предка-варяга в греки подался, да так на Руси и застрял.

Ну, а что до новых евразийцев, то о них сказать Каликин ничего не мог, поскольку никого из них лично не знал — только по телевизору видел.

А по телевизору могут такого наговорить, что и родного батюшку не узнаешь.

Это дело известное.

Однако время вернуться к славному и доброму Росинанту.

Был он, как сказано ранее, 1981 года явления на свет Божий. Купил его Каликин в 2000 году. Ясно, что возраст у автомобиля был солидный, и пришлось ему мотор подлечить, поменять подковы и кое-что ещё. И всё бы было совсем замечательно, если бы не постоянные злоключения, которые подстерегали Росинанта на дорогах северной Руси. Каликин иногда даже думал, что надо было бы конягу русским именем назвать — может быть, он бы так не артачился, когда не нужно. А потом догадался, что это самое русское имя и есть, ибо слышался в нём благородный Росс и романтический Нант, который где-то во Франции располагается. А русские люди, старорюриковичи в том числе, всегда были неравнодушны к французской культуре.

Да взять хоть и наших поэтов.

(Далее смотри антологию русских стихотворений, посвящённых Парижу).

Особенно запомнилось Каликину одно двустихье из современного классика:

Миша Бриш, Миша Бриш,
Ты не писай на Париж...

А что, впечатляет, если задуматься.

У самого Каликина тоже было несколько стихотворений о Париже, суть которых сводилась к восхищению красотой Парижа.

Но все-таки Петербург Каликин любил и оценивал с эстетической точки зрения выше. Даже стихотворение в этом духе в его личном архиве имелось и звучало так:

Париж, как много в этом звуке,
Но я бы умер здесь с тоски.
В Санкт-Петербурге сердца муки
Невыразимо глубоки...

И то правда, Нева-то Сены и глубже, и шире будет.

Он подозревал даже, что ряд европейских архитекторов придерживается такой же точки зрения (об эстетическом превосходстве Санкт-Петербурга над Парижем). А один из них даже решил подложить под Петербург мину замедленного действия и построить рядом со знаменитым Мариинским театром новую сцену — в виде какого-то современного строения из стекла и бетона, взорвав при этом уже ставшее историческим соседнее здание дома культуры, которое могло бы стоять до окончания веков.

«Да культура гибнет, а монстры вырастают», — с болью думал Каликин, слушая бодрый доклад начальницы государственной инспекции по охране памятников о том, как они охраняют историческое достояние. Суть доклада сводилась к тому, чтобы успокоить возбуждённую общественность Петербурга в связи с развернувшимся строительством в исторической части города. По словам начальницы всё было под контролем, и, например, домам вокруг Дворцовой площади ничто не угрожает.

Но даже это было неправдой. Работая в Эрмитаже, Каликин знал, что вынашиваются планы захвата евразийцами не только половины Невского проспекта, но и гордости русской культуры — Главного штаба — жемчужины архитектора Росси.

Бездарности, возомнившие себя вторыми Росси, Баженовыми и Воронихиными, тянули свои липкие щупальцы к самому центру Петербурга и покушались на святая святых — охраняемую испокон веков историческую зону города — вплоть до зданий Сената и Синода. Здесь явно поработали евразийцы и их помощники. Они хотели лишить петербургских рюриковичей их национальной гордости, их Русалима, который те незаметно отстраивали в течение многих лет, несмотря на все искушения, наводнения, войны и губительную блокаду (кстати говоря, намеренно устроенную Сталиным для того только, чтобы рюриковичей стало поменьше, и партия евразийцев правила бы свой жуткий бал на костях наиболее благородных людей).

В блокаду и погибали в первую очередь благородные — те, кто отдавал последнее детям, кто, не жалея себя, стоял у станков по две смены, кто шёл на танк с кастетом в руке, ибо другого оружия партия евразийцев не приготовила.

Преступление власти и беспримерный подвиг народного духа — вот что такое была блокада для Каликина, отец которого по отцовской и дед по материнской линиям героически бились с врагом, защищая город, отстроенный их славными предками. И бились они, конечно же, не за партийные интересы, а за возможность и дальше жить на любимой ими земле.

Доклад начальницы до такой степени был циничен, что Каликин не выдержал и прервал её, с жаром вопросив, кто же ответит за превращение русской имперской столицы в заштатный провинциальный город псевдоевропейского разлива.

Что тут началось!..

Евразийцы готовы были разорвать его на части. И разорвали бы, но на их беду в зале, где общественность Петербурга якобы с восторгом слушала якобы интересный доклад чиновницы, были установлены телевизионные камеры.

И, кажется, одна из них пока не была под контролем евразийцев.

Каликин был назван случайным человеком на этом сборище губителей великой русской культуры (то есть культуры рюриковичей).

И это было правдой. Он был здесь, действительно, случайным, хоть и официально приглашенным, членом СП России. А неслучайными здесь были председатель правления Твердило и писатель Беленький. Они вели себя вполне мирно и спокойно, поскольку к рюриковичам не принадлежали. Просто были старыми, опытными членами до сих пор правящей партии номенклатуры, и никаких указаний они от своего руководства о том, как надо себя вести на такой встрече, не получали.

После подлых слов о случайности его встречи с высоким начальством, с гордо поднятой головой, Каликин покинул этот паноптикум, громко хлопнув дверью на прощанье.

Просто обидно было за своих предков, сложивших головы за Русалим, который теперь партия евразийцев радостно разрушает.

Впрочем, ничего у них не получится, убежденно думал Каликин и вспоминал о своей рукописи, над которой теперь после долгожданного выхода из больницы на свободу как раз трудился денно и нощно, когда была свободная минутка. Жаль, что времени такого почти не было. Начальство загружало Каликина по полной программе, требуя не только научные отчеты, но и нагружая массой дополнительных поручений.

Премии при этом начальство выписывало себе, а не Каликину.

Евразийское хамство прочно утверждалось и в Эрмитаже.

Но ничего, камень и кирпич можно уничтожить, а Слово — бессмертно, тут Бунин прав...

И он, выйдя на свежий воздух из душного помещения, глубоко и умиротворенно вздохнул.

Из всего изложенного может сложиться мнение, что Каликин был человек зашоренный и не принимающий

ничего нового, передового. Это, однако, не так. Он не возражал, например, против строительства новых кварталов в так называемых спальных районах Петербурга и даже на берегах залива. Однако вламываться со своими аквариумами и динозаврами (так Каликин называл новую сцену Мариинки) в благородную, намоленную атмосферу старого города и вести себя при этом вызывающе, это превышало критический порог его терпения. Не для того не сдали в блокаду город, чтобы потом предприимчивые евразийцы (они же носороги столичные) его разрушили.

Да не подумает читатель, что Каликину чем-то Москва не нравилась. Древнюю столицу младорюриковичей и романовичей Каликин любил даже глубже Душкова и Гладышева. И если бы он присутствовал при том разговоре, то вызвался бы написать для них роман века бесплатно. Пусть себе читают и наслаждаются, только бы старую Москву не разрушали своей не в меру кипучей энергией — вроде того Миши Бриша, бессмертное стихотворение о котором уже цитировалось. Жаль, Каликин не запомнил автора. Это с ним бывало — строчку запомнит, а автора — нет. Некоторые тщеславные авторы обижались. А зря.

Сами-то Каликина ещё чаще цитировали, даже не подозревая этого. Сколько он всяких анекдотов, частушек и баек пустил в народ за годы своего неусыпного творчества, как во времена застоя, так и в эпоху перестройки, он и сам не помнил.

Одно стихотворение о гибели советской власти ему особенно нравилось.

Пусть пародист один и переделал его четверостишие в духе постмодернизма, Иван Михайлович не обижался...

Какая теперь разница, какой из вариантов лучше, антинародная власть-то все равно осталась, просто трансформировалась в олигархический способ распределения ВВП. Большая часть дохода олигархам достается, а народу — тому, как и при Советах — рога да копыта. Тогда весь

продукт партийная бюрократия отнимала, а теперь — компрадорская и прошубайсовская антинародная буржуазия, в основном состоящая из евразийцев и примазавшихся к ним депутатов. В том числе и жигановцев. Шубайсовская демократия или номенклатурный олигархизм раздражали не только Каликина.

Президента они тоже раздражили, и он призвал их постараться утроить ВВП. А те — ни в какую. Нет, мол, у нас такой возможности, инфляция начнется, обвал цен и дестабилизация обстановки в стране. Так что пришлось президенту временно успокоиться. Дестабилизации никто не хотел.

Каликин — в том числе.

Ему надо было успеть закончить роман. А там ещё не просматривалась концовка. А ведь хотелось, чтобы был катарсис. Ибо искусства без катарсиса Каликин не признавал.

«Искусство без катарсиса — это Голливуд», — презрительно говорил он и с теплотой думал о Никите Михалкове, давно заткнувшим весь этот хваленый Голливуд за пояс и делавшим своё дело получше любого Спилберга, который на самом деле, несмотря на красивую фамилию, рюриковичем не был, евразийцем — тоже. Говорят — был евреем.

С евреями Каликин голову сломал. Никак он не мог понять — евразийцы они, или — нет. С одной стороны, раз Троцкий с Лениным дружил, значит — евразийцы. С другой стороны, они вроде бы потом поссорились. А перед смертью главного красного евразийца (Ленина) снова помирились. Но тут хитромудрый Сталин Ленина отравил и сам стал евразийскую идею проводить в жизнь. А может, и Троцкий Ленина отравил. Или — Дзержинский, как считал писатель Корняев, который все беды видел в евреях и поляках (тоже евреях, только славянских). Да и кто теперь будет разбираться, кто там кого отравил, а кто кого альпенштоком по голове тюкнул.

Какая теперь разница, когда Русалим–Петербург гибнет под натиском новых варваров. И, как показывает беспристрастный анализ, в большинстве своем — не евреев,

а лиц кавказской национальности. Тоже в большинстве своем — евразийцев.

Не случайно Сталин-то родом с Кавказа был. Хоть и обрусел немного, пока в Туруханском крае в ссылке сидел, но от евразийства своего не отказался, а наоборот — закалился.

В общем, жить становилось все тяжелей. Кавказская и среднеазиатская речь на берегах Невы и в Эрмитаже звучала все чаще, старорюриковичей в Петербурге становилось все меньше. Как бы опять варягов на помощь призывать не пришлось, с тоской думал иногда Каликин и вспоминал славные пушкинские времена, когда можно было и в Арзрум съездить, и Шамиля по ущельям половить. Шамиль, кстати, мир с Россией на вечные времена подписал. Так что те его потомки, которые нынче бунтовать начинают, дождутся только проклятия их древнего предводителя.

Зря они Россию на прочность проверять собираются. Шамиль ведь уже проверял. И воевал получше нынешних. Однако вынужден был мир заключить. И правильно сделал — ибо худой мир лучше доброй ссоры.

Вон американцы с Ираком поссорились из-за нефти, и теперь цены на нефть стали во всем мире аховые, как и в России, где Росинант в последнее время начал что-то очень много потреблять бензина. Стареет коняга, с грустью думал Каликин, понимая, что скоро придется расставаться со старым боевым товарищем, не раз выручавшим его в минуты горестных раздумий. Выедешь на нём из города, развеешься и уже другим человеком с дачи возвращаешься.

Уже и евразийцы практически не раздражают. Тоже ведь — люди, хоть и невоспитанные.

И Дульсиня Новая была в этом с ним совершенно согласна.

ГЛАВА 12 ЮБИЛЕЙ ШОЛОХОВА

Тем временем Пожарский–Таланкин, заручившись поддержкой компьютера, а также поздравлением профессора Матросенко, терпеливо ждал, когда же его признают, наконец, Пожарским–Гениальным и выдадут заслуженную нобелевскую премию за беспрецедентное в истории литературоведения открытие. Ждал для того, чтобы совершить благородный поступок и передать эту премию (или хотя бы часть ее) в фонд помощи многодетным матерям, о которых олигархический режим совсем не заботился.

Однако события развивались совсем по другому сценарию. Поскольку наука совсем захирела и практически вымирала, никто не смог по достоинству оценить то, что сделал Пожарский. Разумеется, если бы жив был Дмитрий Лихачев, он бы сразу признал правоту сравнительно молодого ученого. Но поскольку теперь независимых академиков не осталось, то и поддержать Таланкина никто кроме Александра Матросенко не решился. Да и тот из-за этого пострадал: прокатили его на выборах в академики.

Нечего высовываться, когда не просят.

Больше того, по своим каналам шолоховеды добились того, чтобы год столетия Шолохова был отмечен ЮНЕСКО. Так что стал 2005 год в России — шолоховским годом, а не годом Серафимовича, Таланкина и Матросенко вместе с их навороченным компьютером.

Остается только поражаться жизнестойкости Таланкина — он и на этот раз не склонил головы.

«Правду даже ЮНЕСКО не убьет, а родина должна знать своих героев», — твердил он, непонятно кого имея при этом в виду — себя или Серафимовича с Шолоховым, но хорошо помня, что крылатое это выражение часто употреблял Сталин, которого как раз народ знал очень хорошо.

Особенно тот пожилой народ, который в ГУЛАГе сидел — как, например, гениальный «Исаич» или не менее гениальный актер Георгий Жжёнов. Вот посидел бы Таланкин, как они, в лагере, тогда бы его открытие, может, и признали. А так — без всяких физических страданий каждому первооткрывателю премии выдавать, на гранты родственникам и любовницам средств не останется, решили академики и положили изыскания Таланкина под сукно. В конце концов, они служили великой России, а не какой-то там абстрактной науке. А если великая Россия хочет, чтобы автором эпопеи XX века «Тихий Дон» оставался малограмотный супергений Михаил Шолохов, а не странный Серафимович, значит — и быть по сему.

Таланкин, правда, твердил, что это он служит великой России, и что великая Россия имеет право знать правду...

Да только его никто не слушал. «Академики — они ученые. А Таланкин — он изобретатель, подумаешь, открытие совершил, да я этих открытий каждый день по несколько штук делаю», — говорил аспирант Пушкинского Дома, «шолоховед» Наливайкин, открывая очередную бутылку пива для поддержания жизненного тонуса. Наливайкин в глубине сердца давно понял, что Таланкин прав, но признаться в этом не мог, потому что по должности он был шолоховедом, а Таланкин уже был признан злостным антишолоховедом и по меткому замечанию доктора филологических наук, профессора Петелькина, — шизофреником. Так и написал Петелькин в своем фундаментальном труде, посвященном жизненной трагедии русского гения Шолохова, что всякие домыслы об авторстве казачьего писателя Серафимовича являются шизофреническими. А имени Таланкина даже и не помянул — стоит ли всякого комара поминать, пусть себе пищит на здоровье.

Такую глыбу, как несгибаемый борец с тоталитарным режимом коммунист Шолохов, какой-нибудь Таланкин не пошевелит. Тут не один академик над проблемой потрудиться должен, а он думает в одиночку справиться. Беда

вся в том, что Петелькин тоже понимал — не мог Шолохов в двадцать лет такую эпопею написать, но он, в отличие от Таланкина, хорошо знал — сверху сверх-идея должна поступить, а не от таланкиных разных. Этим таланкиным только разреши, так они ещё и всю Россию обустроят.

Нет, этого допустить никак нельзя.

Тем более что под столетие станичного гения обещали финансовые вливания, премии, командировку в Вешенскую, конференции в Москве и Петербурге, а также торжественное заседание с концертом в Большом театре. Ну кто же от такой халявы откажется — сам себя вопрошал Петелькин и радостно представлял встречу со ставшей такой родной донской землей...

...Деньги под празднество были отпущены немереные. И понятно почему: во-первых, многим членам правительства и депутатам хотелось на юг, а станица Вешенская, как раз на юге России и располагается. Народ там добрый, приветливый. Никто, правда, никогда не верил, что сам Шолохов эпопею написал, но ничего — постепенно привыкли. Перестали смотреть с подозрением и шипеть по углам, что белый офицер-де автор. А наиболее острые языки прижали, так что они только в подушку и кричали по ночам, поскольку молчать о правде, как и Таланкин, не могли. А потом Шолохов немало сделал для станицы — не так много, конечно, как Серафимович для своей Усть-Медведицы, но все же...

В общем, если бы посчитать все средства, которые ушли на празднование шолоховского юбилея, то их хватило бы для безбедного существования дивизии народного ополчения в течение года, или на подъем сельского хозяйства северных областей. Ну, да кто их в России когда считал, деньги эти, кроме матерей многодетных...

Один маститый член-корреспондент смог за государственный счет издать толстый опус с громким названием «Истинная правда “Тихого Дона”». Правды в этом талмуде не было никакой, а была только тоска по ушедшей эпохе

безраздельного владычества горе-шолоховедов, но этот ловкач умудрился ещё и премию денежную за свой якобы научный труд получить и всерьез претендовал на звание полного академика.

А чем он других-то, подобных ему, хуже?..

Ну, а что до истины, то кого и когда она кроме шизофреников разных интересовала?

Таким образом, в результате столь активной деятельности хорошо отдохнувшего за народный счет истеблишмента, был нанесен существенный финансовый ущерб и ослаблена обороноспособность страны.

Надо признать, что президентская команда вскоре это осознала, и по телевизору пошли сюжеты об укреплении военной мощи молодого российского государства (вечная тяга России к обновлению сама по себе указывает на её непрерывный духовный рост и всепокрушающую силу идеи «из варяг в греки», а также обратно).

Коммунисты все же были недовольны размахом праздника. Они думали пробудить народ и поднять его на вооруженную борьбу с надоевшим режимом, а вместо этого удалось только съездить на народные деньги поклониться камню на могиле самого пролетарского из всех пролетарских писателей.

Тут, конечно, была некоторая натяжка, поскольку сам Шолохов происходил по официальному отцу из неопределенного класса так называемой мелкой буржуазии, с которой коммунисты вообще-то в своё время нещадно боролись.

Однако для истинных коммунистов диалектика всегда была важнее догматики.

В этом, по крайней мере, был убежден Геннадий Жиганов.

А после того как президент России демонстративно пролетел, как во сне, на тяжёлом бомбардировщике и приземлился где-то на севере, восхищение правящим режимом достигло такого уровня, что впору было Конституцию России пересматривать и предусмотреть сразу

третий и четвёртый срок для такого джигита, как Эдуард Эдуардович.

«Ай, молодца!» — только и сказал Шамиль Ментэмиров, президент Татарстана, и тоже пересмотрел в очередной раз Конституцию завоёванной царём Иоанном Грозным суверенной республики.

Так ведь Конституции они для народа учёными людьми пишутся. А люди учёные для этого дела ещё более учёными подбираются. Ну, а тех уж назначает начальство. А выше президента начальства в России и в Татарстане нет. Стало быть, какой президент, такая и Конституция.

А вы как думали?

ГЛАВА 13 ОПЕРАЦИЯ «ПЛАГИАТОР»

Тем временем счастливый Дэн Браун попивал джинс с тоником, самодовольно размышляя о том, как он оставил в дураках никому не известного русского учёного и не переставал удивляться талантливости русского народа. Пожалуй, надо ещё порасспросить людей, там побывавших, — может, ещё какую-нибудь сногшибательную информацию получу. А, может, и самому в Россию съездить? Авось, с этим несчастным не увижусь...

«А если увижусь? — с нехорошим чувством подумал он и снова вспомнил про Уилла. — Надо будет ему отстегнуть ещё миллиончик — другой, чтобы не проболтался».

Судебного разбирательства Браун не очень-то боялся: с такими миллионами, которые он заработал на плагиате, оскорблении памяти Леонардо да Винчи, Имени Христа и Марии Магдалины, он мог и выиграть процесс. Единственно, кого он остерегался, так это русской мафии, которая проникла в Штаты, и уже многие американцы пострадали от её наездов. Как эта русская мафия оказалась в Америке, он не мог точно сказать, но информация о её деятельности постоянно звучала в американской прессе и на телевидении. «Ничего, в случае чего обращайся в ЦРУ, они помогут». У них постоянный контакт с русскими спецслужбами. Как-нибудь обуздаем и русскую мафию, надерём ей задницу, как выражаются у нас в славных и могучих Соединённых Штатах, где можно стать миллионером любому и каждому. И где правильно говорят: если ты такой умный — покажи мне свои деньги.

«Я умный, а этот русский — наивный дурак. Первому встречному иностранцу такие вещи рассказывает», — и он с удовольствием сделал ещё один глоток джина со льдом, ощущая собственную неуязвимость и защищённость всеми вооружёнными силами благословенной Америки...

А дело было в том, что Уилл Стен не был для Каликина первым встречным. Он был потомком голландского живописца Яна Стена и уже потому почти рюриковичем. С рюриковичами же Каликин всегда был предельно откровенен. Но, поскольку иностранец есть иностранец, то даже почти рюриковичу Каликин не имел права доверять до конца. Так, во всяком случае, его учили всю первую половину жизни, которая у него прошла в условиях просталинского тоталитаризма. Иностранцы, как показывала тоталитарная теория и практика, все были лазутчики и шпионы, что, в общем-то, одно и то же, только ранг у них разный. Лазутчики — те пониже рангом, а шпионы — те выше. К лазутчикам относились туристы, командировочные, заезжие артисты и т. п. К шпионам — весь дипломатический корпус иностранных государств. Каликин, испугавшись в последний момент, что имеет в лице Уилла тайного лазутчика, не стал открывать главную военную тайну, а именно то, что в «Джоконде» объединены образы Христа и Марии, а хитро подsunул Амона–Осириса и Исиду. Так что даже игру в анаграммы и египетские культы в своём «Коде да Винчи» ловкий американец Браун не сам придумал, а тоже у Каликина через Уилла позаимствовал. Впрочем, как и название романа. Так, собственно, называла всю теорию Каликина его главный научный оппонент Татьяна Кустова. Это ещё с первого доклада в 1987 году пошло. Именно после него, после того злосчастливого доклада, оппоненты радостно записали его в шизофреники. А вот Брауна туда что-то никто не записывает.

Нет всё же справедливости в этом мире.

«Совсем эти америкосы разленились, ничего сами придумывать не хотят — подавай им всё на блюдечке с голубой каёмочкой да ещё и бесплатно. Просто коммунизм себе построили, — недовольно брюзжал Каликин и тихо радовался собственной осторожности и предусмотрительности. — Хорошо ещё, что он про Шолохова и Серафимовича Стену не рассказал, а то пришлось бы потом перед Пожарским–Таланкиным извиняться».

Между тем генерал Пакушев дал добро на начало операции «Плагатор». В итоге ФСБ должна была получить доступ ко всем миллионам Брауна, а самого его сделать одним из своих главных агентов в Америке.

Операция прошла великолепно. Когда резидент России в Нью-Йорке позвонил Брауну и сказал ему, что он является американским адвокатом того русского профессора, у которого Дэн позаимствовал главные идеи для «Кода да Винчи», тот едва не лишился дара речи. Божьего, между прочим, дара — так что зря Дэн оскорблял Имя Божье.

Ох, зря!

Ибо теперь Браун понял, что ему не помогут все славные вооружённые силы, поскольку интеллектуальное воровство в Америке пока ещё не приветствуется. Оно, конечно, не приветствуется и в России, но не так остро, как на западе. А кроме того он прекрасно понял, что имеет дело с самой настоящей русской мафией.

Одним словом, тут Дэн понял, что задницу надрали ему.

Было очень больно и неприятно.

Генерал Пакушев был доволен итогами операции.

Резидент получил очередное повышение и купил себе дом на Рублёвском шоссе. Между прочим, это была очень симпатичная и спокойная женщина.

Русская Мата Хари.

Но имя её пока что история скрывает.

В России так всегда.

Всё великое в тайне и молчании делается.

Такая уж страна.

Это вам не Испания, где всей страной наблюдают за корридой.

У нас, если быка завалить надо, втихаря забойщика нанимают и о цене договариваются. В деревне — забойщика, а в городе — киллера.

Ну, так ведь там и быки другие, о двух ногах.

Так Дэн стал русским агентом со своим любимым кодовым именем. В шифровках он проходил теперь как Голубой.

Такую вот шутку сыграл с ним великий Леонардо (это был один из оперативных псевдонимов генерала Пакушева). А что генерал был великим, в этом никто из специалистов не сомневался — шутка сказать, своего старого агента Эдика Пугина в президенты великой России вывел. Это уметь надо.

И не у каждого это получится.

Совсем не у каждого.

ГЛАВА 14

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

То, что тучи над его головой сгущаются, Каликин почувствовал давно, когда ещё только две трети романа написано было. Он тогда только-только вступил в Союз писателей. И вот, возвращаясь как-то вечером домой с поминок по случаю перехода в мир иной одной очень уважаемой дамы, с которой он иногда по вечерам занимался английским языком (ещё не зная правда, что язык этот ему может очень пригодиться), был подвергнут одному тяжёлому испытанию. В тёмной подворотне, куда Каликин вошёл, совсем уже недалеко от дома, на него вдруг выбежал амбал с пистолетом в руке. Наставив дуло пистолета прямо в лоб своей жертвы, амбал кричал и угрожал выстрелить, если Каликин не поднимет руки и не повернётся к стене. Он не знал только одного: старорюриковичи не сдаются. Когда-то в молодой офицерской жизни Каликин не испугался направленного на него карабина, а пистолет — это детская игрушка по сравнению с карабином. Ловким приёмом офицера запаса Каликин схватил пистолет за дуло и попытался выбить его из руки нападавшего... Но увы — тот был неплохо подготовлен, что сразу выдавало почерк спецподразделения ГРУ по борьбе с диверсионной деятельностью.

«Так, уже в диверсанты попал», — вздохнул о своей нелегкой писательской судьбе Каликин и лихорадочно обдумывал, как поступить в создавшейся ситуации. Калечить невинного евразийца, исполняющего спецзадание, ему не хотелось, и он вспомнил о находчивости одного из своих предков старорюриковичей. Каликин стал громко кричать по-аглички: хелп ми, хелп ми (что в переводе означает — помогите мне), чем привел громилу в явное замешательство (тот решил, что ошибся). Тут же из темноты появился

ещё один субъект и предъявил удостоверение милиционера. Воспользовавшись замешательством ГРУшников (а, может, и других спецслужб), Каликин вырвался и бросился бежать в надежде, что «грабители» побегут следом и тогда можно будет сбить их с ног поодиночке. Действовать так — самое разумное, когда на одного нападает несколько человек, тем более вооружённых. Нападавшие, однако, сами побежали в обратном направлении, поскольку на соседней улице закричала тормозами машина. Задание по изъятию рукописи Каликина из его сумки они провалили, за что и были направлены в командировку в Чечню, где оба героически погибли под Ачхой-Мортаном. И вообще они были не евразийцы, а самые настоящие рюриковичи. Евразийцы их просто использовали, наврав, что в сумке у Каликина находится опасная для правопорядка новой России рукопись.

Придя домой, Каликин позвонил в милицию о нападении, дежурная по району обещала прислать оперативников для описания Каликиным портретов преступников. Но никто, конечно, не появился, что говорило само за себя.

Спецназовцы явно действовали по согласованию с МВД, а это указывало на очень высокий уровень руководства.

Так Каликин высчитал Пакушева.

Он давно подозревал генерала в нечестной игре. Просто связываться с ним не хотелось, время только терять и зря доказывать, что его рукопись никому и ничему не угрожает.

Сам он прекрасно понимал, что это не так. В том-то и дело, что всем угрожает.

Всем, кто о Боге забыл.

А ведь таких много, очень много.

В том числе и академики эти хваленые, которые Пожарского–Таланкина до жёлтого дома довели — к бурной радости вечного аспиранта Наливайкина. И сидит теперь бедный Таланкин в психушке и твердит всем, хватая

проходящих за рукава, что Шолохов — новый Смердяков, предавший своего отца Серафимовича, поскольку сжёт полный вариант романа «Они сражались за Родину» — последнюю рукопись истинного казачьего гения, испугавшись партийного преследования. А как сжигал он эту правдивую и гениальную рукопись, о том и свидетельство есть незаконнорожденного внука Серафимовича, законнорожденного сына Шолохова (впрочем, со строго церковной точки зрения — тоже незаконнорожденного).

Кто интересуется, может прочесть.

«Звери алчные, пиявицы ненасытные!» — с грустью вспомнил Каликин горькие восклицания Радищева, и снова ощутил острую боль за родину свою — великую рюриковщину — Россию...

ГЛАВА 15

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Заседание совета безопасности при президенте России было посвящено борьбе с терроризмом. Терроризм в последнее время совсем вышел из-под контроля силовых структур и становился настоящим мировым бедствием. Объединить усилия всех, кому дороги идеалы свободы и демократии, призывал американский президент, жёстко насаждая эти идеалы в темном и не понимающем благ своего нового положения Ираке. Россия во всем поддерживала своего заокеанского партнёра. Она и не могла его не поддерживать, ибо иначе могла попасть в ряды врагов Америки, а с врагами американцы не церемонятся. Если враг не сдаётся, его уничтожают их славные вооружённые силы, не знающие поражений. Война в Корее и во Вьетнаме тут не в счет, поскольку там на стороне победивших вьетнамцев и корейцев воевали вездесущие рюриковичи — тогда советские, а не будь их, американцы бы и там победили. Ведь побеждают же они всегда и во всех своих боевиках, мастерски выполненных в информационной империи добра и несбыточных грез — Голливуде...

Однако сейчас речь шла не об отношениях с дружеской и свободолюбивой Америкой и даже не о проблеме катастрофического сокращения населения России. В этом в Кремле проблемы не видели — какая, в конце концов, разница, кто будет обслуживать нужды государства, — почему бы и не приглашённые на работу в Россию китайцы, азербайджанцы, киргизы, украинцы, африканцы и прочие. Рабочих рук в мире пока хватает.

Население в России всегда было само по себе, а государство — само для себя. Государство, естественно, важнее. Да и в песне горячо любимой народом недаром проникновенно пелось:

Раньше думай о Родине,
А потом — о себе.

Сейчас, правда, эту песню совсем почти перестали петь. Какого-то олигарха достала. А, может, и весь Совет безопасности.

Пакушева-то точно достала.

Это он и созвал этот совет, через агента своего, президента России-Эдуарда Дзержинского (любимое оперативное имя Пугина).

На повестке дня был один вопрос: взрывоопасная рукопись.

Те отрывки, которые Пакушеву удалось получить с помощью разветвлённой сети своих агентов как в России, так и за рубежом за огромные деньги Дэна Брауна, ясно показывали, что автор её государственной власти не боится.

А такое терпеть было нельзя. «Тот, кто власти государственной не боится, тот и жить-то не должен», — кроваво-жадно полагал Пакушев.

Власть, она только на страхе держаться может, а всякие там общественные договоры, системы сдержек и противовесов, партийное строительство, закон и суды — это всё — от лукавого. Поиграть в партии, конечно, можно, но заигрываться — никак нельзя. Вот говорят: Закон превыше всего. А если закон неправильный, что же мне молиться на него?..

Нет, врагов велико-евразийской России я по своему закону уничтожать буду.

Он снова вспомнил незаконную расправу с Рыбкиным и Лебедем и недовольно поморщился

У кого на дороге стать решили. САМОМУ Пакушеву мешать?

Не позволю.

Совет Безопасности выслушал доклад Пакушева с напряжённым вниманием.

Все присутствующие прекрасно понимали, что именно он, а не президент, в настоящее время сосредоточил в своих

руках всю реальную власть. Люди Пакушева занимали все ключевые должности в новой демократической России. Сам президент находился у него под колпаком и не мог шагу ступить без совета своего бывшего начальника, а ныне — якобы подчиненного. Именно якобы, потому что у Пакушева была соответствующая информация на «Дзержинского», после опубликования которой кое у кого могли бы возникнуть вопросы к всенародно избранному президенту...

Существо доклада сводилось к тому, что Каликин задумал государственный переворот. Сделать это он попытается с помощью опубликованного как в России, так и за рубежом романа. Информация, которой располагает ФСБ, является сугубо конфиденциальной, но достоверной. Поэтому он, Пакушев, просит принять решение о предоставлении его службе действовать в отношении Каликина, опираясь не на закон, а в зависимости от складывающейся ситуации.

Совет Безопасности единогласно проголосовал за такое решение.

Члены Совета давно уже поняли, что иногда с Пакушевым лучше не спорить.

Он этого не любил. А что одним писакой станет меньше, так кому от этого убудет. Писателей в России всегда хватало. Да и нынче их хоть пруд пруди — один Боря Ахунин чего стоит, а ещё есть и Струкацкий, и Гранкин, и Апфельбаум — Носов-Макарин.

Все — не русские, конечно, но какая разница, ведь и Пушкин, говорят, чуть ли не на осьмушку эфиопом был.

ГЛАВА 16

ДЕТСТВО КАЛИКИНА

Когда Каликин уставал работать над романом, он любил вспоминать своё босоное детство в деревне Великиничи — на его малой старорюриковской родине. По воспоминаниям этим им было написано, но никогда и нигде не напечатано, несколько рассказов. Не напечатано, естественно, потому, что евразийцы не позволяют Рюриковичам обращаться со словом глубокой правды к народу. Иначе, как уже было сказано, народ может и обустроить Россию. А это как раз и не нужно, потому что евразийцам не Россия нужна, а Евразия. И в этом вся соль русской национальной идеи, которую они все никак высидеть не могут. Или — не хотят.

Один из этих рассказов автор печального жизнеописания Каликина и приводит в тексте своего романа — бледной копии до сих пор никем не напечатанного романа Каликина.

Вот он.

СТЁПКА И БАБКА НАСТЯ

Больше всего на свете Стёпка боялся Бога. Страх этот внушила ему бабка Настя. Она же научила его и любить Бога. «Без Бога ни до порог», — часто повторяла она, все в жизни объясняя тем, как люди относятся к Богу.

Гибель на войне старших своих детей она относила на счёт своих грехов, моля у Господа прощения для детей и для себя. То, что Стёпкин отец вернулся с войны живым и здоровым, бабка Настя считала великим чудом и не забывала положить поклоны в горнице перед иконой Спасителя, которую она не снимала, несмотря на насмешки её старой подруги Паши, ставшей во время войны партийной и выбившейся в бригадиры. Та, правда, с тех пор, как вступила в партию, стала реже бывать у Никитиных — видно кто-то из старших партийных начальников сделал замечание за дружбу с верующей Настасьей. А может

и сама посчитала для себя стыдным заходить в дом, где по всем комнатам висели иконы. Время было такое, когда религия должна была окончательно отойти в прошлое, — сам Никита Сергеевич Хрущёв объявил об этом с высокой трибуны. А Паша Хохлова начальство всегда уважала.

Бабка Настя начальство тоже уважала, но икон не снимала, а тем более не рубила и не жгла, как поступили некоторые комсомольцы и коммунисты в деревне. Она и Стёпке строго-настрого наказала никогда в жизни не портить икон, а относиться к ним с заботой и осторожностью. Божница её всегда имела ухоженный вид, хоть она при этом и прятала небольшую свою пенсию за икону, не видя в этом греха.

Иногда к бабке Насте приходила откуда-то издалека ещё одна её старая подруга, судя по всему, глубоко верующая, и они вели тихие беседы, вспоминая старое, незнакомое Стёпке время, когда они были молодыми и когда в России ещё правил царь-батюшка... Старушка эта, звали её Аннушка, Стёпку привечала и хвалила бабку за то, что та вызвала отца Николая окрестить внука из самих Важин. Где эти Важины, Стёпка не знал точно — понимал только, что далеко пришлось святому отцу добираться. Крещение батюшка совершал прямо в бабкином доме, тайно от всех — кроме бабки и внука присутствовал только троюродный Стёпкин брат Колька, которого окрестили вместе со Стёпкой по просьбе бабкиной родственницы. А родного брата в то время не было в деревне — он жил с родителями в Петрозаводске.

Стёпкины родители не были такими верующими, как бабка Настя. Конечно, икона в доме была, но они не ухаживали за ней так, как бабка Настя, поклонов перед ней не клали, да и не молились почти — Стёпка во всяком случае этого не замечал. Бабке Насте это в них не нравилось, но жили они давно уже отдельно, своим домом — поздно учить уму-разуму. «Ничего, Господь вразумит», — горестно вздыхала она, видя, что Стёпкин отец, вернувшийся с войны живым и здоровым, вместо того, чтобы благодарить Бога за чудесное избавление от неминуемой гибели, чересчур часто прикладывает к бутылке горькой. Отец отшучивался, говорил, что пили и цари, но бабка была непреклонна в своём осуждении сына за невоздержание, всякий раз, пока Никитины жили в деревне, выговаривая ему, если отец возвращался с работы навеселе.

Бабка Настя вообще была строгой и всегда внушала Стёпке, что Бог любит строгость. Вставала она каждое утро рано — иногда Стёпка слышал сквозь сон, как она шептала слова молитв, видел, как клала она земные поклоны. Потом, пока Стёпка ещё лежал в полудреме, ставила самовар и топила печку. Печка в бабкином доме была русская, сложенная ещё Стёпкиным дедом под руководством прадеда. Из этой печки бабка доставала к завтраку вкусные пироги, была там всегда какая-нибудь вкусная каша или картошка — много всего могла приготовить бабка Настя. Пекла она такие вкусные калитки, вкуснее которых Стёпка нигде не пробовал.

Стёпка не знал, за какие грехи наказал её Бог, но он видел, что она не ропщет на Него, чувствовал, как сильно она любит Бога. В школе, наоборот, учительница говорила, что Бога нет и даже приходила к бабке беседовать, чтобы та повлияла на внука, не пожелавшего снимать крест перед приёмом в октябрята. Бабка сказала ей, что крест снимать нельзя, это не октябрятский значок. Учительница ушла очень недовольная, но Стёпку в октябрята все же приняли, решив, что к пионерскому возрасту Стёпка сам во всем разберётся. Стёпка учился в школе примерно, по всем предметам имел отличные оценки, и не принять его в октябрята было никак нельзя.

Но крестильный крест Стёпка все же потерял — уже на Севере, где жил в рабочем бараке вместе с родителями и младшим братом. Потерял он его во время ребячьей возни в снегу, обнаружил это уже вечером перед сном и найти крест на другой день не смог. С тех пор остался Стёпка без нательного креста, поскольку церкви рядом на сто вёрст никакой не было, а бабка Настя была уже далеко — жила где-то в вечных селениях Бога.

Умерла она зимой, лишь немного полежав в сельской больнице. Умерла тихо — говорят, просила подругу свою Пашу вызвать батюшку из Важин, да то ли батюшка не смог приехать, то ли Паша посчитала это глупостью, но пришлось бабке Насте отойти без последнего причастия. Святая вода у неё, конечно, всегда была при себе на всякий случай, да и просфорки в доме не переводились, — так что скорее всего перед смертью успела она выпить святой воды и съесть кусок просвирки.

Этого ничего Стёпка не видел, но хорошо зная характер бабки Насти, был уверен, что так и было. На похороны

Стёпкин отец ездил один — путь был неблизкий и решили не отрывать детей от учёбы на неделю. Стёпке было жаль бабушку Настю, но на похороны он не очень стремился — боялся покойников. Не мог он понять, как это живой человек может вдруг умереть. Отцу потом прислали фотографии похорон — бабушка лежала в гробу со строгим выражением светлого лица — как живая. На грудь её кем-то из родственников была положена икона — все знали, что была она верующей и, как могли, старались проводить в последний путь по-христиански.

Вспоминая бабушку Настю, Стёпка думал о том, что наверняка в тех вечных селениях, куда она переселилась, ей было лучше, чем на земле. Бабушка последние годы жизни мучилась ревматизмом, ноги её опухали, ходила она с трудом — сказывались все те усилия, с которыми поднимала младших своих детей, оставшись без мужа, погибшего на финской войне, и без старших сыновей, павших в Отечественную. Бабушка не боялась смерти, у неё давно уже стоял сундук с последним обряжением, в котором она хотела предстать перед грозным Судьёй. А какой он, этот Судья, Стёпка никак не мог себе представить. В короткой своей жизни Стёпка вообще ещё не видел судьи. Он знал только, что это очень важный начальник — важнее молодого деревенского милиционера, который иногда заходил к бабушке Насте, пил чай и расспрашивал о младшей дочери, Стёпкиной тётке, уехавшей вслед за Стёпкиными родителями на Север.

Бабушка милиционера не очень-то любила, за глаза называла его пустым болтуном, но с порога не прогоняла, а всегда приглашала к столу. Милиционер иногда не отказывался — видно хотел поговорить, узнать новости о Людмиле. Но та писала редко, а однажды пришло письмо, в котором Людмила сообщала, что нашла себе суженого, и прислала его фотокарточку. С тех пор милиционер заходить перестал, а бабушка стала ждать, когда же северный жених с невестой приедут в гости. Дождаться-то она дождалась, но только жених ей не понравился — был он разведённый, по бабушкиным понятиям в мужья не годился. Людмила настаивала на своём, объясняла матери, что любит, но на том молодые и уехали, не получив бабушкиного благословения.

Обида на единственную дочку, болезнь, одиночество — вот, что осталось с бабушкой Настей в её последние

дни жизни на этом свете. Одно у неё было утешение — Стёпке она о нём честно говорила — это Бог, Иисус Христос, Святой Дух — Троица единосущная и нераздельная.

К встрече с Богом готовилась она тщательно, вымаливала у Бога свои грехи, часто плакала о них на утренних и вечерних молитвах...

... Стёпке было жаль бабу и он верил, что Господь простит ей её грехи, о которых она так сокрушалась. Правда сам Стёпка, хоть и был крещённый, но в церковь не ходил — не было в тех местах, где он с родителями жил, ни одного действующего храма, некому было и научить его правильно молиться, исповедоваться и причащаться. Хорошо ещё, что бабу Настя научила правильно креститься и просить у Господа прощения за свои грехи. Не позаботься она о его крещении, не дай ему того начального христианского воспитания, ещё неизвестно, каким бы он вырос нехристом — может сидел бы в тюрьме, стал бы жуликом, или вообще уехал бы из России, покусившись на сладкую жизнь за границей.

Конечно, Стёпка и так немало наломал дров в своей жизни, но всё же встал в конце концов на путь истинный.

...Когда-нибудь о жизни его я напишу большую повесть. А здесь мне просто хотелось сказать о том, что не оставлял Бог Стёпку ни в деревне, когда он жил без родителей с бабушкой Настей, ни потом на Севере, где жил он с родителями и братом, ни в армии, ни во время учёбы в институте. Не оставляет и теперь, хоть и стал Стёпка седым уже Степаном Васильевичем, отцом большого семейства и известным в кругах специалистов реставратором. И часто вспоминает уважаемый многими Степан Васильевич Никитин немудрёные слова бабушки Насти, которая давно уже в селениях вечных: без Бога ни до порога, а с Богом и в нищете — хорошо»...

А что, неплохой, по-моему, рассказ, хоть и давно, ещё сравнительно молодым Каликиным, написанный.

ГЛАВА 17

КОРНЯЕВ И ЛИТЕРАТУРА

Корняев тяжёло переживал коварство своего молодого товарища Каликина.

Причин для переживаний было много, но главная, конечно, — роман века.

«Ну как он не понимает, что это — моё, что не поднять ему такую глыбу, как классический русский роман», — горько жаловался он обожаемой супруге своей Софье Сердобольской, которая, как и Софья Андреевна Толстая, много помогала своему мужу (но не так как Мария Петровна помогала Михаилу Шолохову).

Ведь загубит по глупости всё дело, всю нашу старорюриковскую идею, а потом расхлёбывай. На самом деле Корняев Рюриковичем не был, а принадлежал к ветви Синеуса и какого-то древнего коми-угорского племени, но сам себя в глубине своей писательской сущности считал, конечно же, первым наследным рюриковичем. А Каликин, происходивший из столицы Рюриковщины — Великиничей, никак не мог с этим согласиться. Могут возразить, что столица Рюриковщины — Старая Ладога.

Да, была когда-то. Но с тех пор, как царь Московский и всея Руси Борис Годунов решил всех старорюриковичей извести, они однажды ночью снялись и в Олеговщину (ныне — Алёховщину) переехали — как бы на 101 километр добровольно-принудительно.

В России ведь всегда так. Дают бери, а бьют — беги.

Кстати — об Алёховщине.

Тот самый хитроумный предок Каликина, который, подражая Господу нашему Иисусу Христу, по воде яко по суху ходил, обладал ещё и даром прозрения. И вот он-то предвидел, что в России в XX веке будет страшная междоусобица, и прольётся море крови. Люди совсем озвереют

и убьют царя своего, помазанника Божия, вместе с женой и детьми. А младшего и единственного сына того царя будут Алексеем звать.

Вот он, прозорливец древний, и предложил в память будущей невинной жертвы, святого нового русского, переименовать языческое, хоть и рюриковское, поселение Олеговщина, в православное село — Алёховщина.

Далеко смотрел старец, много дальше хваленого коммунистами цареубийцы Ульянова-Ленина

Не случайно вскоре после Великого Катаклизма 1991 года в 18 километрах от Алёховщины появилась знаменитая теперь икона Тервенической Божией матери, и на месте том основан был женский монастырь.

В 18 километрах — это напоминание о 1918 годе, когда незаконно была расстреляна царская семья.

Между прочим, появилась икона эта как раз на границе вепского края и Рюриковщины, ибо Тервиничи самим названием своим эту границу обозначают. Если Великиничи — это сугубо древнерусская, то есть старорюриковская топонимика, то в первой половине названия Тервиничи присутствует несомненный финно-угорский компонент, несмотря на чисто рюриковское окончание. И действительно, там до сих пор ещё вепсы встречаются. Правда, их теперь совсем немного, большинство в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москву, Выборг и в Хельсинки переехало.

Голод выгнал вепсов из леса при Советской власти.

А при русских царях они хорошо жили. Окрестились все и стали православными вепсами. Даже теория такая есть, что Святой Александр Свирский — вепс.

Но это неправда — рюрикович он, хоть и с вепскими примесями.

Кстати, ему только из русских святых и являлась Святая Троица.

А больше — никому.

А почему так — на то у Каликина своя теория была... — потому и являлась, что среди святых рюриковичи тоже место особое занимают.

Вернёмся к Корняеву.

Переживал он за великую русскую литературу и за то, что молодой Каликин его опередил. Каликин в общем-то не намного моложе Корняева был, всего-то на три года, но, как любил подчёркивать ещё один классик петербургской литературы поэт Андрей Борисов (он же — Борисюк), — дело ведь не в физиологическом возрасте.

При этом Борисюк принимал важную позу и задумчиво смотрел вглубь собственных нетленных строк.

Поэтесса Пушкикова с ним была глубоко согласна: нельзя было Каликину роман века писать. Это разрушало всю систему ценностей современной русской литературы. Не время сейчас было выходить с такой рукописью в народ. Народ и так доведён до крайности. А тут ещё роман века и Каликин с его рюриковскими идеями.

«Может, позвонить ему и попросить дать почитать, — с тоской иногда думал Корняев, но вовремя спохватывался: — Это как же я буду выглядеть, ведь это все равно, как если бы Пушкин просил Булгарина дать ему почитать что-нибудь из его жалких каракуль».

Бред какой-то.

Что делать, он не знал и решил ещё раз просмотреть рассказ, предложенный когда-то Каликиным ему на рецензию.

Рассказ назывался «Стёпка и Родионов».

И, по мнению автора этих строк, он заслуживает того, чтобы быть опубликованным здесь целиком.

СТЁПКА И РОДИОНОВ

Сразу за деревней начинался лес. Лес был тёмный и сонный. В нём было глухо и таинственно, как в старом сарае, в полумраке которого приятно отдохнуть в жаркий летний день. Лес был знаком, как свои пять пальцев, но всегда в нём открывалось что-то такое, чего раньше не видел, не замечал. Солнечные лучи с трудом пробивали мощные кроны сосен, густо столпившихся над тихой речушкой с незамысловатым названием «Вилега». В некоторых местах речку эту, петлявшую между болот и пожен, можно было перешагнуть. Но в омутах её водилась редкая

донная рыба, а на быстринах посверкивала своими яркими чешуйками царственная форель. Старый мост шатался под ногами, давно готовый рухнуть в неглубокие воды и поплыть до первого узкого места, чтобы образовать там что-то вроде запруды и в конце концов создать там новый омут, на дне которого найдёт себе место лежень сом или какая-нибудь другая сонливая рыба.

Солнце припекало. Некогда было надолго останавливаться, созерцая рыбы стайки в прозрачной воде. Дома ждала больная бабка, отпустившая внука в лес до обеда. Стёпке было всего только десять, но он уже заправски управлял конём, умел носить воду в вёдрах на коромысле и снабжал бабку рыбой, грибами и ягодами. Второй год он жил без родителей, уехавших на Север за длинным рублем и ещё не обжившихся на новом месте. Осенью за Стёпкой обещал приехать отец, а пока что нужно было заготавливать для бабки припасы на зиму. У бабки был тяжёлый ревматизм, сильно болели ноги, и она уже несколько лет в лес не ходила, давая внуку инструкции, где брать боровики, а где волнушки и красные. Пора волнушек ещё не подошла, да Стёпка по малолетству и не любил собирать их, упрямо считая грибами только белые да подосиновики. Бывало, правда, и так, что приходилось довольствоваться только моховиками да лисичками. Но этот год был грибным. Бабку это пугало. Она боялась новой войны — Стёпке уже приходилось видеть, как она проливала слёзы перед домашней иконой, вспоминая убитых на войне старших сыновей и мужа. Стёпкин отец тоже воевал и чудом остался в живых, но он не любил рассказывать о войне, а только отшучивался, когда Стёпка с братом лезли к нему с расспросами.

Стёпка немного завидовал брату, уехавшему на Север с родителями, но как старший он понимал, что сразу с двумя детьми на новом месте в рабочем бараке будет тяжело. Кроме того ему было жаль бабку, ставшую совсем одинокой. Деда своего Стёпка не помнил — тот умер от ран задолго до Стёпкиного рождения. На какой-то совсем ещё неведомой Стёпке войне дед был кавалеристом и георгиевским кавалером. Бабка Настя вспоминала о нём всегда с гордостью, и подруги её, заходившие иногда на «вечору», с уважением вспоминали Ивана Степановича, желая ему царствия небесного.

В свои десять лет Стёпка никак не мог понять, почему люди воют. Мир казался ему большим и просторным,

в котором на всех хватит грибов и ягод, если только не вытаптывать и не вырывать их с корнями. Бабка Настя учила Стёпку срезать гриб осторожно, не нарушая грибницу, также осторожно она советовала собирать и ягоды. Каждый год Стёпка ходил почти по одним и тем же местам, а грибов и ягод становилось всё больше.

Дорога, петляя, довела до Володина ложка. Место это было гиблым. Здесь утонул в болотном колодце человек, которого в деревне любили, а Стёпки тогда ещё на свете не было. В память о нём и назвали эту сумрачную полянку по имени несчастного.

Вокруг дороги стояли тёмные ели, и солнечный свет совсем уже был не в силах пробиться сквозь их колючие шубы. Страх подкатывал обычно здесь к Стёпкиному сердцу, и ему хотелось побыстрее уйти отсюда. Но в tomto и дело, что сразу за Володиным ложком начинались грибные места. Иногда Стёпка снимал здесь с одного только пяточка до двадцати белых. Сегодня ему не везло. Всего только десяток боровиков и два красных улеглись в большую корзину, которую в конце похода нужно будет привязать ремнями к спине, как вещмешок. Если Стёпка возвращался из леса с корзиной в руках, а не за плечами, местные жители сочувствовали, понимая, что сегодня у Настиного внука плохой день. Друзья-ровесники завидовали Стёпке в его грибных делах — даже когда он ходил в лес вместе с ними, грибы почему-то прыгали именно к нему в корзинку...

У бабки на этот счёт была своя теория. Она считала, что грибы чувствуют хороших людей, а плохих избегают. Стёпка в эту бабкину теорию не совсем верил, потому что видел, как часто приходит из леса с полной корзиной ссыльный дядька Родионов, который до ссылки ещё и сидел в тюрьме. А в тюрьму хорошего человека не посадят — это Стёпке было ясно. Родионов и сегодня прошёл в лес раньше Стёпки. Стёпка безошибочно определил следы от его сапог с отпечатком батога, неизменно сопровождавшего Родионова в его походах за грибами.

За что Родионов был арестован и сколько времени отсидел в тюрьме, этого Стёпка не знал, а когда спросил об этом у бабки, она ответила ему сухо: не нашего это ума дело, ступай-ка ты, Степушка, за водой для самовара. Всё это слегка озадачило Стёпку, потому что бабка обычно отвечала на Стёпкины вопросы подробно, как могла, не делая

особых скидок на малолетство. За это Стёпка и любил её и считал бабушку Настю лучшей из всех бабок на свете, не давая её в обиду тем злым языкам, которые любят пере-мыть кости ближнему. Он знал, что некоторые старухи осуждают бабушку за то, что она впрягла малолетнего в хозяйство, но обрывал все сочувственные ахи-вздохи такого рода доброхотов, не поощряя и просто жалостливого взгляда. Да и не он один пропадал в лесу и на реке, промышляя чего поесть, не он один в полную мужицкую силу помогал старшим. Почти все его друзья-ровесники имели свои задания по хозяйству, а многих ещё и драли за невыполнение. Так что Стёпка не чувствовал себя обиженным и ущемлённым. Бабушка Настя разве что поворчит, если Стёпка в чём провинится, а чтоб пальцем его тронула, — этого не бывало. «Последнее это дело бить детей», — замечала она протрезвевшему Якову Майорову, державшему семью в страхе и трепете и гонявшему время от времени в пьяном угаре всех своих по деревне. «Бей своих, чтоб чужие боялись», — отвечал на бабушкины замечания Яшка-тракторист, но на какое-то время после этого утихал. Обычно — до следующей полочки. Стёпкин отец не любил этого Яшку, отсидевшегося во время войны где-то в тылу. Все другие мужики в деревне воевали, многие там и остались, а были и такие, что пришли с неё совсем искалеченными. У бабушки Насти погибли два старших сына, Стёпкины дядевья — один в самом начале войны — в битве под Москвой, а второй — уже в последние месяцы 1945 года — под Будапештом. Иногда бабушка доставала из старого комода фотографии, подолгу смотрела на них, поджав губы, и Стёпка видел, как слёзы набегают ей на глаза.

Стёпкин отец ушёл на фронт в 42-м и каким-то чудом остался в живых, хоть и пришлось ему служить в морской пехоте и не раз смотреть смерти в глаза. Вернулся он живым и здоровым.

Были у бабушки ещё и младшие, теперь тоже уехавшие из родного дома дети. Им повезло, не взяла их война в своё чрево и не выплюнула обратно с обрубками вместо рук и ног, как доброго дедушку Василия Лапина, их соседа, которого выносили иногда из дома погреться на солнышке.

Так что Стёпка был в деревне даже везунчиком, а осенью и вообще уедет, как уехала уже половина деревни в разные города на заработки. Жалко было расставаться с родиной, но без отца с матерью было всё-таки грустно.

«А бабка не помрёт ещё, не дадут подружки-соседки», — размышлял своим недетским уже умом Стёпка.

Думая обо всем этом, Стёпка вышел вдруг на полянку, на которой густо, как на картинке, сидели крепкие боровики. С жадным азартом срезая один за другим, Стёпка быстро набрал полную корзину. Теперь можно было уже поворачивать обратно, но хотелось набрать ещё и с горкой на удивление и зависть соседке Катьке, подначившей его по дороге в лес привычным напутствием: смотри все грибы не собери! Эта Катька была страшно вредная девчонка. Она приехала в гости к бабке Анне, дом которой стоял напротив деревенского колодца, и страшно задавалась. Все деревенские девчонки так и вились вокруг неё, а Стёпка её терпеть не мог. Она расхаживала по деревне в короткой юбке и даже пыталась играть в мальчишечьи игры. А позавчера Катька осмелилась сесть на Соловья — старого колхозного коня, на которого Стёпка и тот садился с опаской по причине его дурного нрава. Через секунду, правда, эту Катьку вытаскивали из густых лопухов, куда Соловей сбросил нахалку. Но Катька храбрилась и готова была ещё раз попробовать прокатиться. После того как дядя Илюша, колхозный конюх, провёл с Соловьем разъяснительную беседу, Катька проехала на строптивном коне круг почёта по двору конюшни к зависти всех её товарок, визжавших от восторга. Дядя Илья похвалил Катьку, а Стёпка смотрел на всё это неодобрительно. «Не женское это дело — конем управлять», — сердито думал он, слушая, как Катька расписывает подружкам свои ощущения от полета в лопушиное царство. Стёпка твёрдо знал, что женщина должна заниматься женским делом, а мужчина — мужским. У него на этот счет были свои суждения и переубедить его в этом было трудно. Да и бабка Настя не раз говорила ему, что все беды оттого и идут, что женщины стали в мужские дела вступать, а мужчины — за женские браться.

Размышляя о своём, Стёпка неожиданно вышел на Родионова, сидевшего с корзиной, полной отборными боровиками под густой елью. Пред Родионовым был раскинут походный стол: на куске газеты лежали чёрный хлеб, соль и печёная картошка.

— Привет грибникам! — первым поздоровался Родионов густым, немного страшноватым басом и предложил Стёпке место у своего «стола». Стёпка слегка побаивался

этого непонятного ему человека. Жил Родионов один на отшибе деревни, а жена его и дети по слухам оставались где-то в далёкой Москве, которую наряду с Питером бабка Настя считала самым большим городом на всём белом свете. А какие они Питер и Москва — хоть бы одним глазком посмотреть Стёпке иногда хотелось. От приглашения Родионова он хотел было отказаться, но то ли голод, то ли любопытство сделали своё дело, и через минуту он уже уминал за обе щеки вкусную картошку, приправленную хлебом и солью.

Родионову нравился этот парнишка, самый удачливый из маленьких деревенских грибников. Он, конечно, давно заметил, что Стёпка его избегает. Другие ребята были с ним уже дружны, и некоторые даже успели надоесть Родионову своими просьбами самого разного характера — в основном по части диковинных игрушек, изготовляемых ссыльным из дерева, глины, соломы и другого подсобного материала. Родителям некогда было особенно заниматься детьми — отцы трудились в лесу, перевыполняя план знаменитого леспромхоза, а матери в поте лица зарабатывали трудодни — ещё не пришло то неслыханное время, когда из города колоннами двинутся с песнями на поля шефы, с трудом отличающие косу от граблей. Родионов не понимал, почему Стёпка обходит его стороной до тех пор, пока тот ему однажды не буркнул в ответ на приглашение подойти и выбрать игрушку: с каторжниками не возжусь.

«Эх ты, малец! — в сердцах подумал тогда Родионов, — какой ты ещё глупый». Но после того случая Стёпка стал занимать его ещё больше.

Ему хотелось, чтобы Стёпка относился к нему по-другому. Ведь в конце концов не злодей он какой-нибудь, и всё, что с ним случилось, могло случиться и с любым другим, да и случилось со многими — такая уж была на дворе эпоха с её восточной неспешностью в голосе и характерным запахом «Герцоговины флор». «Стёпка ты, Стёпка, — думал Родионов, глядя на сотрапезника с тёплым чувством, — хорошо тебе, ничего-то ты, брат, ещё не понимаешь».

Стёпка с чувством жевал картошку с хлебом и исподлобья смотрел на Родионова.

В общем-то ничего особенного в Родионове не было. «А ещё каторжник, — подумалось Стёпке, — разве такие настоящие-то разбойники».

— Дядя Николай, — спросил вдруг Стёпка, за время совместного обеда подобрешший к Родионову, — а в тюрьме и на каторге страшно?

То, что Стёпка употребляет дореволюционное слово, почему-то развеселило Родионова. И он ответил, не задумываясь:

— Нет, Степан, не страшно. — Потом, подумав, поправился: — Вначале только страшно, а потом ко всему привыкаешь.

— Да, — вздохнув, сказал Стёпка, — и бабка Настя тоже говорит. Ко всему можно привыкнуть. Вот я без отца с матерью уже год живу. И ничего, привык.

Сказав это, Стёпка вдруг ощутил жалость к самому себе. Вспомнился отец, его сильные руки, которыми он легко подбрасывал Стёпку под потолок. А мать Стёпка боялся вспоминать, потому что становилось ему от этого тоскливо и хотелось сесть в поезд, чтобы умчаться на неведомый Север, куда уехали все оставшиеся дети бабки Насти в поисках неведомого счастья.

Бабка Настя не верила, что будет из этого добро, но отговаривать детей, вкусивших полной ложкой военной и послевоенной каши, не могла. Авось, станет полегче, вернуться в родное гнездо, не сахар ведь и в городе жизнь.

«Не в деньгах счастье», — твердила она вместе с другими старухами, у которых тоже оставшиеся в живых дети уехали по вербовке на стройки, на службу и учебу — безвозвратно. Рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше — запомнилась Стёпке поговорка дяди Кости, последнего из отъезжающих, завербовавшихся на ту же стройку, куда уехала и Стёпкина семья. Дядя Костя, дальний их родственник, предлагал взять Стёпку с собой, но Стёпка, видя, что бабка совсем загрустила, отказался, решив дождаться приезда отца. «Да и что там на Севере делать-то летом, — мудро рассуждал он, — холодно небось, не купаешься даже».

— А ты, Степан, меня не бойся, — неожиданно произнес Родионов, — я ведь не бандит какой-нибудь и не вор. Скоро меня реабилитируют, и уеду я из вашей деревни навсегда, пусть другой кто-нибудь делает игрушки твоим друзьям.

Стёпка второй раз уже слышал это странное слово, но не понимал его. Что это значит — реабилитируют? В деревне только учительница понимала это слово, но и та

как-то объясняла его смысл туманно. Родионов заметил, что смысл незнакомого слова не дошёл до Стёпки и горько улыбнулся.

— Хорошо тебе, Степан, живется на белом свете, — вздохнул он снова и широко раскинулся на спине, представляя, как он вернется домой, где его, наверное, давно не ждут, но куда он обязательно придёт, потому что это его дом, его дети. Ну и что из того, что жена давно вышла за другого. Нет, мстить никому он не собирался. Жизнь сама отомстит и спросит с них за всё. Он с брезгливостью вспоминал того, кто оклеветал его и по чьей вине оказался он во всех тех местах, куда по меткому народному выражению Макар телят не гонял. Эх, Яков Феликсович, Яков Феликсович, простились вы, однако, мёртвые иногда воскресают...

— Степан, а Степан, — обратился он снова к своему юному товарищу, — а как ты думаешь, могут ли люди жить без войны да без драки?

— Бабка Настя говорит, что могут, если только молиться будут больше, потому что войну придумал враг рода человеческого, а с ним только молитвой бороться можно, — рассудительно ответил Стёпка, к войне, несмотря на свой юный возраст, относившийся с особого рода почтением и почти суеверным страхом.

— Ох и умна же твоя бабка Настя, не читала она, видно, работ классиков марксизма на эту тему, — засмеялся Родионов.

— Не читала, — мирно согласился Стёпка, сам сокрушавшийся иногда по поводу бабкиной необразованности.

Родионов смотрел на Стёпку и мысленно был далеко. Вспомнились военные дороги, такие же вот бивуаки в лесах под деревьями, все те прелести военного быта, которые вместе с кровавым опытом боёв оставили раны не только на теле. Война началась для него 22 июня 1941 года, а закончилась много позже её официального окончания — да, наверное, она для него вообще никогда не закончится.

В первый раз Родионова ранило в блокадном Ленинграде — под Лигово. Рана была тяжёлой, и он, эвакуированный в глубокий тыл, довольно долго приходил в себя, пока снова не встал в строй. И помчала его вновь война на своих колёсах и крыльях навстречу победе, лишь иногда делая короткие передышки по случаю небольших очередных ранений. И всё же он ещё легко отделался, если

не считать навсегда оставшейся небольшой хромоты после последнего ранения в ногу да неглубокого шрама на лице — след рукопашной схватки.

Иногда, в минуты горестных раздумий, тяжёлые мысли одолевали его. Вспоминались умершие от голода родители и павшие в боях друзья. И один вопрос жёг его душу, вопрос, на который не мог он до сих пор найти ответ. Неужели всё, что было, вся эта кровь, стоившая жизни миллионов и правых, и виноватых мужчин и женщин, взрослых и детей — неужели всё это зря? И ради чего шёл он дорогами этой страшной войны, отступая и поднимаясь в атаки, голодая и замерзая, падая под пулями и убивая врагов, ради чего, наконец, дошёл он, Родионов, до столицы могущественного государства, неразумно бросившись на восток?..

Ради кого и чего, Родионов зримо осознал только сейчас, наблюдая как аппетитно жует Стёпка картошку с хлебом и солью.

«Что ждёт-то тебя, Стёпка, в твоей жизни?» — подумал он и усмехнулся наивности вопроса. Может ли хоть кто-нибудь в этом столетии сказать, что ждёт весь мир, а не одного только Стёпку. Вот уже и водородную бомбу испытали, а что дальше будет — ни один пророк предсказать не сможет. Неужели всё-таки сторят эти вот высокие ели и корабельные сосны, тихо переговаривающиеся в верхах между собой, сторит всё, что есть на земле вообще, ухнет в одночасье в бездну, в тартарары под зловещий хохот Мефистофеля? Нет, понял за годы несправедливых унижений и гонений Родионов, это было бы слишком просто. А вот превратить человека в скотину, сделать из него существо злобное и ленивое, жадное и прожорливое, готовое на что угодно ради удовлетворения какой-нибудь страстишки — вот это интереснее, это по-мефистофельски. Снова вспомнился ему Яков Феликсович, всегда свой в доску, цинично предавший его ради какой-то призрачной идеи, а скорее всего ради материальной выгоды. Увы, не только с врагами внешними, но и у нас здесь, с нами по соседству, есть с кем бороться, кого бить по липким лапам, чтобы не запачкали они то святое, что не померкло в душе Родионова за долгие годы страданий и что, он твёрдо знал это, теперь уже не померкнет никогда.

Из леса Стёпка и Родионов возвращались вместе.

Солнце клонилось к западу, вдали на горизонте маячили грозные облака.

— А знаешь ли ты, Степан, что такое Отечество? — спросил Родионов, когда они подходили к сверкающей на солнце реке.

Стёпка никогда не задумывался над этим словом, и вопрос Родионова его озадачил. Он подумал, что это не только родная деревня, но ещё и лес, в котором они собирали грибы, и речка, через которую им ещё предстоит переходить по шаткому мостику, и дорога, по которой идут они, не спеша, с полными корзинами. Стёпка так и не смог ответить на этот вопрос, а Родионов и не настаивал: он понимал, что со временем Стёпка всё узнает. В этом он был спокоен, потому что у Стёпки были умные и чистые глаза — по ним, а не по словам с войны определял Родионов людей. Беспokoило его другое. Сможет ли Стёпка, когда подрастёт, отстоять всё то, что так дорого Родионову и ради чего не желал он никакой другой судьбы кроме той, что ему выпала. Сможет ли Стёпка отстоять и корабельный этот бор, и эту чистую речку. И эту дорогу, петляющую среди деревьев и полей под высоким шатром небес, с которых льётся на мир немеркнувший, несмотря ни на что, солнечный свет?

...А Стёпка шёл и думал, что Родионов — человек, видимо, не злой и зря он его обидел тогда, когда тот предлагал ему игрушку на выбор...

По шаткому мостику они перешли речку. Родионов проверил крючки, поставленные накануне. На двух из них сидело по налиму, а с третьего, блеснув брюхом на солнце, сошла какая-то крупная рыба. Налимов Родионов поделил: одного отдал Стёпке, а другого уложил себе в корзину, завернув в остатки газеты. Стёпка терпеливо ждал, пока Родионов обегал свои крючки, и, чтобы не терять времени даром, подчищал собранные грибы — дома бабке будет меньше работы.

В деревню они вернулись к трём часам, как Стёпка и уговаривался с бабкой Настей. Встречные уважительно здоровались с Родионовым и похваливали Стёпку, опять обошедшего своих дружков, вернувшихся намного раньше с неполными корзинками. Даже Катька и та прикусила язык, когда встретила Стёпку. Бабка Настя ждала у ворот и предложила Родионову зайти выпить чаю с калитками. Родионов, поблагодарив, отказался — его ждала к обеду

хозяйка, у которой он столовался. Они попрощались, и фигура прихрамывающего Родионова скрылась за поворотом, где стоял дом старухи Лукишны, в котором и жил третий год Родионов.

...В начале сентября, когда Стёпка уезжал с отцом на Север, он зашёл к Лукишне попрощаться не только с ней, но и с Родионовым. Но Родионова дома не было, бабка Лукишна сказала, что ссыльный ушёл в соседнее село на почту. Стёпке некогда было ждать, и он только попросил передать, что заходил попрощаться.

Потом Стёпка с отцом сели в кузов грузовика и под причитания бабки Насти уехали на станцию.

Через неделю Родионов тоже уехал из деревни.

Зимой бабка Настя умерла.

Ленинград, 1984 г.

Рассказ Корняеву понравился.

Он даже пожалел, что в своё время не поддержал его публикацию в одном толстом журнале. Но дело было в том, что он и не мог его поддержать, поскольку тогда же, в этом же журнале, шла публикация одной его ударной вещи, а москвичи двух питерцев одновременно публиковать не желали. Ну, что поделаешь с этой московской ревностью к питерской литературе. Никак её не искоренить. Не желают питерцев в большом количестве печатать, и все тут. У вас, говорят, своя писательская организация есть, а у нас своя. Совсем там они сдурели от денег немереных (Корняев по своим каналам уже узнал, что в Москве Душков объявил конкурс на роман века и назначил премию в 10 миллионов долларов). Кто из москвичей организовал эту утечку информации, было не совсем ясно, но в Петербурге никто не сомневался, что один только Переславин и мог пойти на столь безумный шаг. Таким образом он как бы вызывал питерцев на своеобразное соревнование. Старое пионерское прошлое, должно быть, все ещё жило где-то в подсознании Николая.

«Молодец, — одобрил дерзкий поступок Переславина храбрый потомок Синеуса и Рюрика (слухи о коми-угорских корнях Корняева распускали его злопыхатели), —

не побоялся этого старого мухомора Гладышева, выпивающего последние соки из русских писателей и раздающего все премии литературным прихлебателям. Я бы тоже так поступил на его месте, а то неуютно будешь себя чувствовать, сознавая, что не в честной борьбе большой денежный приз получил. Сейчас, правда, совести в народе совсем не стало, все норовят приз по знакомству прямо так в карман положить. А это все равно, что на ёлку влезть и не ободраться. Такого не бывает, я в детстве по ёлкам лазил, хорошо их нрав знаю», — и он тепло посмотрел на свою супругу, которая как скромная зелёная ёлочка стояла на пороге комнаты и держала поднос с утренним чаем, заботясь о продуктивной работе современного русского классика.

Писать роман века Корняеву было не надо. У него их было столько, что он один мог знаменитым русским повалом всю московскую организацию так называемых писателей завалить. Играючи, так сказать, с легонца. Просто случая не предоставлялось — издатели все дороги перекрывают, тиражи делают мизерные, заявляя, что народ и так книг не берёт. Врут, конечно. Политику свою проводят, чтобы писателей за гроши работать заставить. «Нет уж, дудки, бесплатно только птички поют», — вспомнилось ему бессмертное шаляпинское выражение, а также евангельское — о молотящем воле достойном пропитания.

Он и был этим молотящим волом. Насколько себя помнил, только и занимался этим неблагоприятным писательским ремеслом, выжимающем последние жизненные соки и изматывающем нервную систему. Сколько нашего брата от этого по психушном лежит и преждевременно на тот свет перешло — об этом один Господь знает. А эти сволочи-депутаты до сих пор закон о творческих союзах принимать не желают. Да если бы немного урезали себе денежное содержание, давно бы всем писателям на стипендии народные хватило.

«Народ, не желающий кормить своих писателей, будет кормить чужих, — вспомнилось ему крылатое выражение

Наполеона об армии, которое писатель давно уже глубоко и провидчески перефразировал. — А чужие писатели — это пострашнее чужой армии. Та только тела грешников убивает, а эти — душу народную», — вздохнул он и с отворачиванием вспомнил заполонившие книжный рынок России так называемые западные бестселлеры о мальчишке-колдуне Гарри Поттере и ещё более зловредную писанину гомосексуалиста и трансвестита Дэна Брауна о великом итальянском живописце и богослове Леонардо да Винчи.

«И кто-то ведь этот бред коммерческих писателей читает. Совсем люди с ума посходили», — горько подумал он и, выпив принесённый супругой чай с лимоном и печеньем, сел за работу над романом века.

Там мы его и оставим в слабой надежде, что в депутатах пробудится, наконец, совесть, и они обратят внимание на цвет нации — писателей, поэтов, композиторов, и вообще на положение дел с культурой.

А то ведь скоро не только дикторы на телевидении, но и школьные учителя по-русски говорить разучатся, а вместо классической музыки повсеместно будут звучать рэповские выкрики с призывами: не дай себе засохнуть и тому подобная вредная для нормальной психики чушь.

Да и не только говорить учителя разучатся, но и думать.

«Демократия в России — это есть антинародная власть и всеобщая дебилизация населения», — перефразировал оставленный было нами Корняев на этот раз выражение не Наполеона, а немецкого шпиона, продолжателя чёрного дела Маркса-Энгельса, Владимира Ульянова-Ленина, чей труп до сих пор не сожжён и прах не развеян над водами Лены.

А ведь он сам слёзно просил об этом в своем завещании (уничтоженном другим известным вампиром — Сталиным), поскольку во всём хотел подражать своему обожаемому кумиру и соплеменнику (по материнской линии) — Марксу. Тот, как известно, завещал прах свой развеять над Атлантикой, что Энгельс и сделал.

«Клиника сплошная — куда психиатры в XIX веке смотрели?» — подумал Корняев, а потом вспомнил, что Фрейд активной практикой тогда ещё не занимался. А то бы Маркса подлечил, а там и остальных бы не было.

«Да нет, были бы», — с горькой усмешкой возразил он сам себе и живо вообразил, как русский Маркс — князь Кропоткин — бежит с топором прямо на него.

И маститый писатель стал раздваиваться между толстовским непротивлением злу насилием и непреодолимым желанием ударить этого князя кулаком в его наглую рыжую морду.

А морда у Кропоткина, поскольку усталый Корняев незаметно заснул за столом, почему-то была чисто шубайсовская.

Недаром они оба, Кропоткин и Шубайс, Достоевского терпеть не могут.

И теперь мы уже точно оставим нашего классика предаваться приятным сновидениям.

Тем более что роман века им собственно уже написан — «Собачья смерть красно-коричневых жидомасонов» называется.

И это, действительно, без всяких там шуток-прибауток, серьёзная вещь, где классик русским повалом, пусть и с коми-угорскими примесями, заваливает всю эту красно-коричнево-голубовато-полосатую современную политическую систему в болото её же собственной провокационно-революционной практики.

Советую почитать, но не слабонервным.

ГЛАВА 18 ВЕЛИКИЙ ЕВРАЗИЕЦ ПАКУШЕВ

Наряду с талантливыми Пушкиным и Тютчевым, Корняевым и Каликиным, Пожарским-Таланкиным и Серафимовичем-Поповым, а также одарённым актёром Шолоховым, земля русская порождает иногда и таких гениев как Пакушев.

В том, что Пакушев был гений разведки и контрразведки, никто в ФСБ никогда не сомневался. Он мог сломать любого злодея за пять минут. А такого, как Дэн Браун, ему и ломать-то не пришлось. Сам моментально сломался и рассопливился. Русской мафии испугался с симпатичным женским личиком. Должно быть, голливудских страшилок пересмотрел, где русских постоянно монстрами изображают.

«Есть всё же у американцев, — думал Пакушев, — комплекс в нашем отношении: чувствуют силу нашу скрытую, понимают, что мы их, как французов в 1812 и немцев в 1941–1945 годах, к себе заманить хотим, чтобы здесь окружить и задницу надрать. Китайцы те хоть давно поняли, что с нами лучше по-доброму, по-хорошему. Даже великую китайскую стену построили, чтобы от нас отгородиться. Теперь, правда, кусочничать начинают — Даманский им отдай, по Амуру они плавать свободно хотят. Ладно, с китайцами потом разберемся, а пока что они нам нужны, в Сибири вон какие пространства неосвоенные. Пусть поработают, авось культурой нашей евразийской пропитаются».

По своей политической ориентации Пакушев был евразиец. Но, конечно, не из тех новых евразийцев, которые недавно объявились и громко о себе заявить пытаются.

Нет, он был реальным евразийцем. Он давно уже понял, что рюриковичей–новгородцев так просто не возьмёшь.

Их сам Петр Великий взять не смог, советская власть не добила, а уж так называемая демократия — куда ей!

А давить этих рюриковичей надо было, иначе они могут рядовых евразийцев в свою веру обратить — в православную, то есть. А веру православную Пакушев не любил. Он был другой совсем веры человек — антиправославной.

Сатанист–сталинист, одним словом.

Но об этом, конечно, никто не знал. Даже агент его личный, на груди вскормленный, в недрах спецслужб взлелеянный, Дзержинский Эдичка, не подозревал. А если бы узнал, так ведь мог бы испугаться с ним вместе на рыбалку ездить.

А может, и вообще бы заартачился. Не поддержал бы его в проекте «Великая Евразия». Пришлось бы тогда другого агента раскручивать и в президенты выводить.

А ведь это денег стоит.

Народных, между прочим, кровью и потом заработанных денег.

ГЛАВА 19 ПРОЕКТ «ВЕЛИКАЯ ЕВРАЗИЯ»

Проект «Великая Евразия» Пакушев вынашивал и проводил в жизнь давно. Дело в том, что, по мнению Пакушева и его подручных, проект «Великая Россия», порождённый ещё легендарным Рюриком и поддержанный ладожанами–навгородцами, древними каргопольцами и псковичами (сиречь словенами и прочими славянскими и финно-угорскими племенами) морально устарел. Не выдержал он — крестоносно–тевтонско–масонско–керенско–ленинского напора и рухнул в одночасье в 1917 году.

С тех пор сторонники евразийской идеи безраздельно властвовали в России — Советском Союзе, или другими словами новой Орде. Только уже не Золотой, а — Серебряной.

К сожалению, между ними сразу же начались нестроения и смертельная борьба за власть, ибо этим орда всегда и отличается, что каждый сам себя лучшим джигитом считает, а другим хочет головы отрезать. Просто очень им, евразийцам, процесс этот нравится. Отрезал голову и никаких проблем.

«Нет человека, нет проблем», — именно так говаривал самый великий евразиец (после Чингисхана, конечно), горячо Пакушевым любимый, Иосиф Сталин.

В детстве Пакушев любил отрывать головы мухам и муравьям, вешать и топить котят, а также дергать девчонок за косы (тогда ещё девочки такие косички носили, с которыми сейчас всё чаще православные батюшки ходят и просто молодые стилиаги). Причём дергал он не с целью поближе познакомиться, а чтобы больно было. Нравилось ему другим больно делать. Душой он отдыхал тогда и увереннее себя в жизни чувствовал. Однажды, правда, какой-то рюрикович за девчонку заступился и Пакушеву самому больно сделал. С тех пор Пакушев рюриковичей

возненавидел. И чем больше он их изучал, тем больше он их ненавидел.

Особенно он возненавидел рюриковичей писателей, а также композиторов, поэтов и всех прочих так называемых творцов. Была какая-то жуткая несправедливость в том, что практически все видные русские гении были чистокровными рюриковичами. А если даже по крови евразийцами числились, то по духу обязательно рюриковичами становились, как только творить начинали. И никак их нельзя было заставить делать то, что Пакушев хотел. А один из них на просьбу Пакушева выучить его четырёх агентов виртуозной игре на виолончели после двух месяцев безрезультатных занятий плюнул и уехал в Петербург, посоветовав Пакушеву на прощание прочесть басню Крылова «Парнас».

Пакушев прочёл.

А потом этого учителя больше на концертах «Виртуозов Москвы» не видели — говорят, музыкальные инструменты настраивает. Умник выискался. Он этих умников с детства терпеть не мог. Как увидит умную физиономию, так и смотрит на неё волком, пока парень не спросит: тебе чего? А Пакушев тому: сам чего! И пошло-поехало, пока он эту физиономию не исправит в его, пакушевском, вкусе. Впрочем, если парень явно посильней был, тогда уж Пакушев не грубо отвечал, а вежливо: извини, мол, обонялся. Он хоть и задиристый в детстве был, но не дурак. Да и то правда, дурак генералом ФСБ не станет. Тут надо многих обойти, а кое-кого и валить приходилось. Русским повалом, или евразийской хитростью. Что, впрочем, не одно и то же. Далеко не одно и то же. В русском повале там сила и смелость требуется, а в хитрости евразийской — изощрённость ума.

А вот если это совместить, тогда уж никакой враг не страшен. Ни внешний, ни внутренний.

Суть проекта «Великая Евразия» заключалась в тихом перевороте конституционного строя России.

И состоял он из трёх этапов.

Этап первый предполагал дестабилизацию обстановки в России (тогда Советском Союзе) с помощью деструктивных сил и просто сбитого с толку народа. Это нужно было сделать для того, чтобы в обстановке непредсказуемого хаоса убрать таких рюриковичей, случайно оказавшихся во власти, как генерал Ахромеев и ему подобные.

Этап второй предполагал создание совсем уж жуткой обстановки, чтобы люди стали бояться выходить на улицы, ездить в метро и вообще друг друга. В этой обстановке они все, как один, начнут вздыхать о сильной руке. А создать такую обстановку в России — проще простого. Надо только оставить оружие зверским националистам, особенно чеченцам, а уж они найдут ему применение.

Конечно, пострадает много невинных людей. Но зато в конце концов укрепится вертикаль власти. Идея укрепления вертикали власти принадлежала ему, Пакушеву.

Это только озвучивал её президент. Что Пакушев понимал под вертикалью власти и так понятно: кол, разумеется.

Этот кол ещё при Чингисхане заведён был, а потом с татарами и на Русь переехал. Там дисциплина была и порядок был. Чуть что не так — на кол его и к едреней фене, чтоб не возникал.

А то, понимаешь, цари Романовы тут Жуковских с Пушкиными развели.

Не нужны великой Евразии ни Жуковские, ни Пушкины, ни Каликин этот отмороженный (пусть и умный) не нужен.

«Им, рюриковичам, да и романовичам тоже, нужна великая Россия, а мне (нам!) нужна великая Евразия», — со сталинской усмешкой подумал он и стал размышлять о том, как посадить Каликина на кол. Жалко, что сажать придётся в фигуральном смысле слова, поскольку дружественная Америка может возражать против открытой казни на Красной площади. Но посадить-то всё равно придётся. Пусть и не на кол, так на иглу. Вколют ему лошадиную

дозу раствора дебилизирующего и хватит с него. Больше романов писать не будет. Под себя ходить начнет и — писать уже с другим ударением...

Да, все мельчает в этом мире, нахмурился Пакушев, сравнивая тонкую и легкую иглу (шприц по-медицинскому) с гладким и таким незаменимым во все времена колом...

Вернёмся к этапам.

Третий этап подразумевал сбрасывание всех масок и создание наконец Великой Евразии вполне официально. Во главе Великой и неделимой Евразии должен быть великий Хан.

Таким ханом будет уже не Эдичка, а он САМ, потомок знаменитого Чингисхана по прямой. Это была тайна Пакушева, которую знала только жена, и даже дети пока не знали — так же точно, как и дети Шолохова и Серафимовича ничего не знали о тайном сговоре своих отцов для борьбы с советско-евразийской властью с помощью романа «Тихий Дон».

Дружественная Америка не будет возражать, поскольку ей в общем-то всё равно, кто там в России правит — президент, царь или хан. Лишь бы цены на нефть не слишком поднимали.

Возражать могли только рюриковичи, и вот с ними Пакушев разделялся сейчас со всей своей евразийской хитростью.

Он лично следил за тем, чтобы органы не слишком усердствовали в поиске и ловле чеченских боевиков, лично прикрывал (разумеется, тайно) Бесаева и Разбоева, не раз предупреждал их через своих агентов, спасая от севших им на хвост не в меру ретивых разведчиков и контрразведчиков-рюриковичей.

Свое дело он знал хорошо, можно даже сказать виртуозно, ловко используя президента в своих далеко идущих целях. Единственное, что беспокоило его, так это появление в глазах горячо им любимого Эдички тоски какой-то, тайны какой-то скрытой.

«Уж не с рюриковичами ли подружился за моей спиной», — в холодном поту просыпался иногда по ночам будущий великий хан и со страхом выглядывал во двор своего укрепленного дома — дворца на Рублёвском шоссе — не въезжает ли БТР со спецназовцами, пока ещё ему не подчинёнными. Он не раз уже предлагал на Совете Безопасности сосредоточить все силовые структуры в одном ведомстве (его, разумеется), но пока что встречался с вежливым сопротивлением.

Это хамство ему начинало надоедать.

Надоедать ему начал и Каликин, рукопись которого, несмотря на усердие всех задействованных структур и потраченные миллионы Голубчика (так по-простому Пакушев называл теперь своего нового агента Дэна Брауна), так и не была найдена.

«А посадить бы их всех на кол и пусть бы там вертелись, пока не упадут», — озлобленно подумал Пакушев о явно ленивых подчиненных и сел разрабатывать операцию по дискредитации и нейтрализации Каликина, ярого старорюриковича.

Суть операции сводилась к тому, чтобы с помощью талантливых агентов ФСБ совершить несколько краж в Эрмитаже, а потом подбросить похищенное на дачу Каликина. Все равно он в последнее время по данным разведки и контрразведки там редко бывает.

Народ поверит легко, поскольку Каликин — многодетный, деньги ему нужны. Жить-то надо. Вот он и крадёт, а сбыть пока не получается. Выжидает.

Пакушев поразился собственной изощрённой гениальности и тут же дал добро на разработку операции.

Название операции было простое.

Она называлась «Капкан для крота».

Кротом Пакушев Каликина обозвал за слепоту его рюриковскую и нежелание видеть всех преимуществ вертикали власти, или — кола пакушевского.

ГЛАВА 20 ВЕЧЕРЕЛО

Вечерело.

По дороге в сторону дачи, расположенной в столице рюриковщины — деревне Великиничи — шёл Каликин. Он приехал, чтобы немного отдохнуть от города с его сумасшедшим ритмом жизни и всё более взвинченной обстановкой на работе и дома. Росинант его в очередной раз заболел, так что пришлось добираться на автобусе. Дульсиня Петербургская и все дети остались в Санкт-Петербурге, поскольку был уже сентябрь и надо было учиться, а также заниматься преподавательской практикой. Дульсиня соответственно занималась практикой, а дети, как могли, постигали основы великой евразийской культуры.

Рюриковской культуре, к сожалению, в школах почти не учили. На вопрос, откуда вытекает великая рюриковская река Волга и куда она впадает, правильный ответ знали только дети Каликина — и то потому, что он вовремя успел им об этом рассказать. В школе же учителя об этом детям ничего не рассказывали, боялись, видимо, впасть в великодержавный шовинизм, с которым ещё вождь мирового пролетариата, покойный ныне, но до сих пор почтительно похороненный, истинный евразиец, Ульянов-Ленин яростно боролся.

Слабая надежда на то, что дело как-то поправится в лучшую сторону, появилась у Каликина тогда, когда романовичами и рюриковичами была предложена программа «Основы православной культуры». Однако люди Пакушева, давно расставленные великодержавным евразийцем на всех ключевых постах, и слышать не хотели об этой программе, а втихаря готовили свою, о которой вкратце уже было сказано, ибо называлась она: «НАШИ».

Этим «нашистам» ничего знать об истории православной культуры не хотелось. Им просто очень зажигалось

поправить этой страной, как комсомольцам 80-х захотелось поправить Союзом вместе с первым президентом — ещё одним великим евразийцем — Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, более известным на западе как любимый всем цивилизованным человечеством — Горби.

Рюриковичи, как известно, к цивилизованному человечеству причислены не были — со всеми вытекающими отсюда последствиями (для Горбачёва). Одним словом, не любили рюриковичи Горбачёва, а Ельцина на танке сначала полюбили, а потом тоже разлюбили. То же самое и с Эдичкой Дзержинским вышло, потому что они хоть и доверчивые, но не дураки.

Совсем даже не дураки.

Каликин шёл и думал об истории этих мест, о родной рюриковщине, выстоявшей и пережившей казни Петра, нашествия иноплемённых, кровавые междоусобицы и даже годы Великого Катаклизма.

«Непонятно только, смогут ли они пережить план Пакушева», — напряженно думал он и размышлял, как спасти потаённую рукопись от полного уничтожения.

То, что Пакушев против него что-то замышляет, он понял давно. Но как человек благородный не мог он всей низости пакушевской мысли измерить.

В разных они измерениях существовали.

Каликин о высокой поэзии думал, а Пакушев только вертикалью власти интересовался, да Эдичку Дзержинского обхаживал.

А кстати, Феликс-то Эдмундович, настоящий-то Дзержинский, ведь очень на Дон-Кихота похож, каким Каликин его себе с подачи актёра Черкасова (ныне покойного) представлял.

А вот писатель Корняев доказывает, что именно он, Дзержинский, Ленина-то и приговорил.

И кому верить?

Да никому теперь Каликин, кроме Господа Иисуса Христа, отца своего духовного, протоиерея Василия, и супруги своей обожаемой Татьяны Евгеньевны, не верил.

Не то, чтобы не верил совсем, а не до конца доверял. Доверчивость у него ранней юности и юной зрелости про- падать стала. С иронией и скепсисом на людей он теперь все чаще смотреть стал. Старость, должно быть, приближа- ется. «Вечереет», — вздохнул он и быстрее зашагал в сто- рону дачи, а точнее сказать обыкновенного деревенского дома, где и был схвачен тем же вечером людьми Пакушева по подозрению в краже бесценных сокровищ Эрмитажа.

И «вещдоки» были обнаружены — на чердаке лежали, аккуратно упакованные. Отпечатков пальцев Каликина, правда, не было.

«Так это и понятно — матёрый рюрикович — он теперь в перчатках работает, не то, что раньше», — пояснял че- ловек Пакушева, опытный следователь по особо важным делам, полковник Бандурин.

Так Каликин попал по полной программе. В капкан, как крот слепой, угодил, что Пакушеву и требовалось для дискредитации рюриковской идеи и победы его евразий- ского движения.

А всё же одного он, Пакушев, не учёл — за ним самим давно уже его заместитель наблюдал, ещё один великий ев- разиец, который сам хотел великим Ханом стать.

И вот тут-то начинается самое интересное.

ГЛАВА 21 ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ

На самом деле тайным заместителем Пакушева, который давно за ним наблюдал и сам хотел смотрящим по России стать, президент-резидент и был. На людях он якобы главным был, а как на рыбалку вместе отправятся, тут уж Пакушев главный, потому что он старый браконьер был и равных ему не было. Надоело все это дело Эдичке давно, сам хотел править. «Сколько можно в заместителях ходить, да в президента играть. Не русское это название. У нас в России президентов отродясь не было, и я не буду, хочу быть царем-государем, а лучше — императором всея Руси. Тем более я как две капли воды на Юлия Цезаря похож», — кричал он на Пакушева, когда уж очень сердит был на своего старого начальника.

В таких случаях Брут-Пакушев обращался обычно к своим людям и отправляли Эдичку на воспитание: то на истребитель посадят и высший пилотаж начнут показывать, то в подводную лодку загрузят и на глубину пойдут, а то в тяжёлом бомбардировщике к норвежской границе отправят, а там ведь средства ПВО работают с обеих сторон на уничтожение неопознанной цели. Только уклоняться успевай.

Как во сне, полет получается.

В общем, тихо возненавидел Пакушева Эдичка. И подготовил незаметно дворцовый переворот. Совсем как в старое царское, романовское, время. А великим ханом он все и не хотел быть. Ему без Пакушева и так хорошо было.

Никак Пакушев не ожидал от сына своего приемного такой прыти. Расслабился, размечтался, вот и наткнулся на эту самую вертикаль, за которую он так боролся.

В тот самый день, когда Пакушев лично собирался допрос с пристрастием над Каликиным учинить и уже кол здоровый приготовил, арестовали его.

Хитрый Эдичка все же наладил контакты с рюриковичами, ещё не добитыми во властных структурах, и даже к варягам, то есть к иностранным спецслужбам, за помощью обратился.

Теперь Пакушев сам живёт, как во сне.

На даче своей цветочки поливает, с женой по вечерам саке пьёт и о Великой Евразии вздыхает. Ну, а пенсия у него побольше, чем у Каликина зарплата вместе с премией и командировочными. Все ж таки — генерал.

Не боевой, конечно, а подковёрный, или — паркетный.

Ну, да таких евразийцы ещё больше уважают. Они ведь, генералы паркетные, — злопамятнее.

А кол у Пакушева посредине двора стоит и мочало на нём.

Это затем, чтоб никто не забывал о вертикали властной. Опасная это штука. Очень опасная.

На неё лучше не садиться. Не дай Бог — соскользнёшь.

А Каликина выпустили, потому что агенты всю правду о Пакушеве рассказали, и как они кражи посреди белого дня в Эрмитаже делали, тоже показали.

А якобы все разговоры похитителей с Каликиным были заместителем Пакушева, полковником Бандуриным, сфабрикованы.

Сейчас ведь, что хочешь, сфабрикуют, только деньги давай.

А их у Дэна Брауна много.

И никак не убавляется, потому что народу всей земли очень каликинская идея о «Джоконде» в душу запала.

Это ж надо, больше пяти веков раскусить не могли. А Каликин смог.

Потому что наш он, чистый рюрикович.

Так вот, или примерно так, судачили бабы по вечерам в Великиничах, Гонгиничах, Игокиничах, а также и в Олеговщине — Алёховщине, когда заходили в гости друг к другу, если было на то настроение и повод во время рекламных пауз какого-нибудь очередного сериала о славных действиях наших милиционеров.

Среди которых, к сожалению, иногда оборотни в погонах появляются.

Ну, так ведь, и на солнце есть пятна.

А вообще-то милиция у нас хорошая.

Ты её не трогай, и она тебя не тронет.

А ведь так не всегда было.

Вон при Сталине-то, милиция сколько народу заморила, — страшно сказать.

Да об этом и у Солженицына не всё написано.

Ох, не всё...

И они замолкали, вспоминая пропавших своих земляков, в застенках НКВД и ГПУ замордованных, расстрелянных, в баржах утопленных, на Колыму сосланных и просто от голода в лютую годину коллективизации и послевоенного обустройства скончавшихся.

Помяни, Господи, души их невинноубиенные вместе с теми героями-рюриковичами, которые на поле брани за Отечество пали.

ГЛАВА 22 САНЧО ПАНСО (А ВЕРНЕЕ ПАНСЫ)

Итак, судя по накалу страстей, дело движется к развязке, а читатели пока что ничего не нашли на этих страницах о друге и оруженосце верном благородного идадьго Каликина — Санчо Пансо, или по-рюриковски — по правильному — Санче Пансе (не пенсне же он, в конце концов).

«Неужели же не было у него такого?» — спросит иной испуганный почитатель Сервантеса и других классиков мировой матушки — литературы.

Ошибается маловерный читатель.

Во-первых, благородную эту роль иногда исполняла сама Дульсинея Новая, что в России вообще-то — не редкость. Жёны здесь часто помогают своим благородным мужьям в различных критических ситуациях. Особенно они следят, конечно, за их нравственностью — в том смысле, чтобы Рюриковичи нрав свой на людях не показывали — в носу не ковыряли, чересчур громко не смеялись и обглоданных ножек Буша на пол не метали. По поводу ковыряния в носу на людях тут согласиться можно, это действительно очень неприятно видеть. А если наедине ковыряться и в зеркало при этом не смотреть, то процесс этот, в общем-то, приятный. Главное до крови не расковырять, а то ведь можно и в больницу на переливание загреть.

А болеть сейчас дорого. Если не на нервном отделении, конечно. Там цены — умеренные (боятся, видимо, больных волновать).

Но был у благородного Каликина, разумеется, и самый что ни на есть настоящий Санчо. И проживал он, между прочим, в соседнем с Каликинской дачей доме.

Звали его не Санчо, а Виталий, а фамилия была — Балаболин. К сожалению, сейчас Санчо уже покинул сей бренный мир, но поскольку он много лет исполнял при

Каликине обязанности почётного оруженосца, то рассказать о нём мы просто обязаны. Тем более что сына своего он Александром назвал, что в переводе на испанский почти Санчо и будет (а, скорее всего, и нет, но кто это кроме испанистов знает).

Виталий был во всех случаях дачной каликинской жизни незаменимый Пансо. Надо, например, Каликину крышу дома рубероидом покрыть (откуда в нынешней России у благородного идальго деньги на шифер?) Пансо — тут как тут. И всё между прочим, как всякий русский Рюрикович (поскольку, как было сказано ранее, рюриковичи есть и нерусские), умел.

Да-с. Что-то автор выражаться стал громоздко, пора к рубленой прозе переходить.

Всё он умел. И пить. И курить. И материться.

Иногда Виталий делал это одновременно. Но это не мешало ему быть вполне достойным Санчо, а точнее — Витальяном, так его иногда друзья-собутыльники называли. Кстати при женщинах и детях Витальян, он же Санчо, никогда не матерился. Да и при Каликине тоже — лишь изредка, поскольку знал об устойчивой идеосинкروزии Ивана Михайловича к евразийскому мату (русским, а тем более сакральным, в отличие от своего приятеля по литературному объединению «Нарвская застава» скандинововеда и большого начальника Лугина, Каликин мат никогда не считал).

Поскольку, если бы мат был сакральным, — им бы не сорили, как семечками, на всяком углу. Жаль Каликин Лугину этот аргумент в разговоре их давнем не привёл, тот бы ложную теорию о сакральности мата не разработал. Святое всуе не поминают и тем более не угрожают это самое по самое корневище отрезать и собакам выбросить.

Так-то вот, Лугин. Не горячись в научных своих прозрениях. Это дело тонкое. Можно и на mine подорваться.

Виталий, он же Санчо, тоже на mine подорвался. И мина эта была коварная. Русское пьянство называется.

Старая эта болезнь многих благородных рюриковичей. Так же, впрочем, как и труворчан и синеусовцев. Как только кто-нибудь чашу Грааля на стол поставит, как смотришь, уже откуда ни возьмись, вся дружина вокруг стола соберётся. Некоторые совсем израненные и больные насквозь, а все равно идут и ползут даже.

Вот что значит тяга древняя славяно-варяжская к греческой культуре питания. Древние греки, правда, вино водой разбавляли, но это Рюриковичам не понравилось. Не бензин же в конце-то концов.

Плюнули и так стали пить. Спирт, в основном. Неразбавленный.

Ну, не телевизор ведь смотреть, где над всенародно избранными президентами (и Ельциным, и Пугиным), который год издеваются. Одного все по больницам лечили, так и не вылечили, а второго только что в космос на боевой ракете не запустили. А уж в глубинах Северного Ледовитого океана побывал.

Ладно, если там чаша Грааля была. А если нет? Тогда это уж чистой воды издевательство. Посадить бы этих шоумейкеров нынешних со всеми их социологами самих в эту старую подводную лодку или в новейший боевой истребитель без всякой подготовки. И пускай полетают. А потом интервью у них взять.

Бодренько так спросить: «Вам понравилось, уважаемые»?

У, глаза их бесстыжие!..

Не дадут спокойно Владимиру Путевому поправить.

Путевым Пугина Виталий вначале звал.

А теперь уж так рюриковичи его не зовут.

Сами чего-то запутались. Не поймут: Путин он или — Шелапугин очередной.

Шолом то есть. Алейхем — значит.

Ну и Алёховщина тут же. Недалеко будет.

Слава Богу — не Аллах Акбар.

Дотуда отсюда далеко.

Похороните меня по-мусульмански.

Последняя фраза была его любимая и заключительная.

После неё он обычно засыпал. Почему ему, по отцу чистому Рюриковичу (по матери Виталий был из вепсов), нравился мусульманский обряд погребения, об этом он Каликину не говорил. Но просьба его родственниками выполнена не была. Похоронили его, как и всех прочих Рюриковичей. Мало ли что в голову пьяному взбредёт. Мусульманином ведь он не был. А был просто немного больным человеком. Вот и всё. Ну, а кто сейчас в нашей жизни здоров. Разве что хирург Углов, которому сто лет, а он до сих пор успешно операции совершает, когда у молодых практиканток от страха руки трясутся.

Когда Витальян напивался, он такую околесицу нёс, что и записывать за ним не надо было.

Сразу запоминалось.

Вернёмся к трезвому Виталию.

Трезвый Виталий был человек сугубо положительный. Околесицу он никакую не нёс, а всё на головную боль жаловался и тоскливо так на Каликина посматривал.

Росинанта тогда у Каликина ещё не было, и приходилось Виталию с полученной взаймы купюрой идти в Алёховщину–Олеговщину пешком.

Что он с радостью и делал, где немедленно освобождился от головной боли, испив чаши Грааля. Да и идти-то от Великинич до Алёховщины всего два километра с горы. Рукой подать.

Обратно, конечно, в гору труднее, но если хорошо награалиться, то вполне ничего. Можно даже и с песнями.

Но это, конечно, редко.

Песни уж совсем не те пошли.

Не поются, а выкрикиваются. Рэпом это называется. Ну, вроде как в старое доброе время частушки-нескладушки были. Что-то похожее. А старые варяжские песни он в одиночку петь не любил. Решат ещё, что напился. А что там пить-то было, две дозы Грааля всего и выпил. Естественно полулитровых. На литровые денег не хватило.

«Жадный ты, Каликин, до денег. Смотри совесть не потеряй и будь человеком».

Денег ему Каликин после таких слов уже не давал, а отправлял спать домой, потому что, по всему судя, он и так был хорош. Тем более и Дульсинея Петербургская с благородной тещей уже в окна посматривали и разговор рюриковичей в открытые летом окна слышали. И им естественно не нравилось, что карманные деньги Каликина уплывают из его кармана не в семейный скудный бюджет, а в карман верному Санчо, или — Санче.

Однако Виталий в долгу не оставался. Денег, конечно, не возвращал, но во всём и всегда старался помочь Каликину. И по хозяйству чего, и в лес сходить за грибами. Ягоды собирать не любил, поскольку это дел не мужское, а женское.

Ну, просто — как сам Каликин. Тот тоже женское дело делать не любил.

И по этому поводу бывали иногда у них с Дульсинеей, с Татьяной то есть — свет Евгеньевной, — пикировки.

Не любил благородный Каликин домашним хозяйством заниматься. Ему бы всё почитать, пописать, живописью поувлекаться, на сенокосе местным крестьянам помочь во время отпуска.

А тут и за водой сходить надо, и дров принести, и в магазин в Алёховщину сходить. Ну, не детей же, маленьких ещё, заставлять.

Вот тут Пансо и приходил на помощь Каликину.

Он, кстати, не только крышу Каликину помог покрыть, но и баньку срубить.

Вообще-то на все руки мастер был.

Пусть Господь оставит ему прегрешения.

Часто о нём Каликин, как о первом своем верном оруженье, вспоминал.

А другого Пансо звали Борис.

Был он уже не из Рюриковичей, а из труворчан. Из Псковской земли родом.

Но приехал на древнюю рюриковшину давно, ещё молодым совсем.

Здесь и жену себе нашел — Валентину.

О ней у Каликина даже рассказ написан, но пока нигде не напечатан.

Куда торопиться — рукописи-то не горят и в воде не тонут, и на кол их сажать бесполезно.

Пробовали уже много раз, да слово оно только крепче становится, а кол ломается.

Хоть и вертикаль власти.

Второй Санчо, он же Борис, не смотря на то, что был из труворчан, а не Рюрикович, но обхождения тоже был благородного. Всегда придёт и поздоровается, о житье-бытье в городе спросит, о себе расскажет. У него только один был недостаток (а, может, и большое достоинство) — слышал плохо. Он тридцать лет в лесу на тракторе ещё советского производства проработал, а там шум-тарарам такой, что барабанные перепонки не выдерживают.

Так и стал Борис инвалидом по слуху.

В чём-то это и хорошо, лишних глупостей не слышит. А их ведь сейчас ещё больше стало. К старым-то новые прибавляются.

Вот гора и вырастает — выше алёховской (олеговской — значит).

Борис часто помогал Каликину в починке Росинанта и в плотницких работах, а также и во всех прочих проблемах.

То колодец поможет почистить, то крышу бани прохудившуюся покрыть новым рубероидом, а то и дом подрубить, который от старости совсем на бок накренился. Был он опытным механизатором-трактористом и скучал по технике в связи с уходом на пенсию.

В скандинавском устройстве Росинанта он разобрался просто и даже как-то после очередной чаши португальского Грааля вызвался починить карбюратор. Но Каликин, который португальского Грааля не употреблял, а предпочитал только чисто рюриковский продукт менделеевского

изобретения и в очень ограниченном количестве (впрочем, исключения бывали), на такой эксперимент пойти не решился. И, как потом выяснилось, правильно сделал, потому что карбюратор был в полном порядке, а просто хитромудрые (если не сказать более грубо) евразийцы бензин водой разбавили.

На заправке, кстати.

Совсем люди стыд потеряли, а менты — нюх. Только по телевизору они успешно с преступностью борются. А чтобы бензиновую мафию за жабры взять — тут они в кусты.

Сидят там, в кустах придорожных, и жезликом своим помахивают. Быстро, мол, едете. Это на старом Росинанте-то, которого почти все евразийцы по дороге обгоняли.

Ну, да ладно, там мы их и оставим.

А вернёмся к санчам-пансам, то есть нормальным Рюриковичам великинского разлива.

Почему же всё-таки их было два, а не один, как в нормальной испанской трагикомедии? Да потому только, что Россия страна большая и в ней всего много, а кроме того Каликина начальство давно для своей выгоды в шизофреники записало, так что — пусть они, санчи то есть, раздваиваются.

Кстати, их и не два было, а три. Про Дульсинею-то забыли?..

Ну, а троица русская — это уж особая тема.

Рублёвская.

ГЛАВА 23 РУКОПИСЬ

Как Серафимович спрятал рукопись «Тихого Дона» у себя в Усть-Медведице в подвале дома, принадлежащего некогда казаку Мелехову, реальному прототипу одноимённого героя романа (а насчёт Харлампия Ермакова до сих пор обманываются шолоховеды по собственной косности и других обманывают), так точно поступил и Каликин.

Он тоже закопал рукопись свою до лучших времён, которые пока ещё не наступили. Закопал потому, что народ ещё не был готов к её прочтению. Народ вообще-то ко всему готов был.

Даже к явлению Царя-Государя Иоанна Грозного Нового готов был.

А вот к роману века — не был.

Не готовил его никто. Но ведь для того, чтобы в тему войти, к этому подготовиться надо. А иначе будешь, как старая коза, на новые ворота смотреть и стоять как божж перед рекламным щитом типа: «Стыдно быть бедным». Каликин сам видел такой на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге (бывшем селе Спасском великой Рюриковщины).

Там на шикарном французском стуле второго рококо была сфотографирована породистая собачонка — ну, точь-в-точь Кандолиза Райс или Маргеретт Тетчер — кто вам сказал, что они не похожи? — которая свысока на божжей смотрит.

А божжи разве виноваты, что их кандолизы-тетчеры так опустили.

А самое главное и остальное население бывшего села Спасского — ныне Санкт-Петербурга — опускать собираются.

По полной программе.

Потому что план-то велико-евразийско-брауновский никто не отменял. Это Пакушева от него отстранили.

Но даже не судили, а пожурили только. Потому что — либерализм теперь. Для некоторых, но не для всех, разумеется. Со всеми же миндальничать никак нельзя, а то они ещё разберутся, что к чему, да и рукописи некоторые со сценариями всяческими потребуют на анализ...

Да хоть и «Тихого Дона», например.

А это никому не нужно.

Ни президенту. Ни парламенту. Ни средствам массовой дезинформации. Ни мировой общественности.

Разве что Пожарскому–Таланкину интересно.

Так он пусть об этом с Матросенко–Компьютерным беседует, которому ответ уже дан самим Пушкинским Домом в лице его достойных представителей, написавших и опубликовавших шедевр времён бескрайнего диалектизма и олигофренства.

«В плену холодных чисел» называется.

И говорится в нём соответственно о том, что дважды два — это далеко не всегда четыре, а иногда и пять, и шесть. Это, как начальству литературному и любому всякому заблагорассудится. Считать уметь надо, профессор пренебрежительно уважаемый. И к мнению специалистов-шолоховецев прислушиваться, а не всяких там Таланкиных–Пожарских в расчёт принимать. И без того голова болит от «Тихого Дона», «Тихого Дома» и вообще — всех тихих.

Не зря говорят: в тихом омуте черти водятся.

Так-то вот, профессор вы наш Матросенко–Преображенский. И подписи имеются.

Только Шариков почему-то не подписался.

А зря. Вполне мог бы.

Видал он всех этих профессоров и Таланкиных в гробу. В белых тапочках.

Били их, били, профессоров этих. Как только не выводили со света белого, а они всё живут.

Есть, твердят, Истина. И даже, говорят, — Вечная.

А другим почему-то не показывают.

Вот когда всем покажут, тогда и поверим.

А так заявлять, что дважды два — четыре, это волюнтаризм в науке, не согласованный опять же с инстанциями.

...Вот потому и закапывал в темноте подвала в белых тапочках Каликин рукопись. А в белых оттого только, что очень он белый цвет любил (даже больше красного, что вообще-то странно для человека, взраставшего и выросшего в условиях его полного и окончательного, а также бесповоротного торжества).

Сам по себе, кстати, красный цвет тоже очень красивый, но когда его слишком много, — в глазах черно становится.

Просто знаменитое черное солнце Серафимовича-Шолохова получается. А ещё потому тапочки белые были, что других у Каликина не было, поскольку зарплата старшего научного сотрудника Эрмитажа и доцента Академии художеств по совместительству две пары обуви покупать не позволяла.

Или, если две пары купить, тогда, значит, босиком детишкам доцента бегать по селу Спасскому сиречь славному городу апостола Петра (а не Петра — императора-антихриста, как некоторые непросвещённые евразийцы и даже рюриковичи полагают).

Страницы рукописи в темноте светились и на свет Божий просились.

Не понимали они никак, что нельзя ещё выходить.

Что рано ещё.

Не рассвело ведь, а наоборот, как сказано в соответствующей главе — вечерело.

Ни одна ещё проблема животрепещущая не разрешена была и ни одна реформа до конца не доведена.

Жилищная, например... оставляла желать.

Так же и военная.

О науке с культурой и говорить не приходится.

А если о многодетных семьях вспомнить...

Впрочем о них и не вспоминают теперь (власти во всяком случае). А чего о них вспоминать? О них и никогда-то по-доброму не вспоминали.

Или, неровен час, к ночи вспомнить ещё о бомжах и детишках беспризорных...

О пенсионерах и говорить нечего. Они сами о себе сказали.

Пенсий им, видите ли, не хватает.

Некоторым лет через десять без пенсий придётся остаться. Тем, которые вертикаль власти не уважают.

Каликину, например, и ему подобным.

Зачем ему пенсия?

Он пока что на своих двоих передвигается и даже романы пишет.

И вообще — зачем Рюриковичам реальная пенсия?

Даже евразийцам и то не всем она дается, а тем только, кто на вертикаль власти денно и нощно, не покладая живота своего, трудится.

А уж прочие — подождите. Не стойте в очереди. А, впрочем, можете и постоять. Очереди у нас любят.

Особенно уважают автоматные.

А то, если всем пенсии нормальные назначить, директорско-депутатский корпус на Канарах отдыхать не сможет.

А олигархи не смогут футбольные клубы за границей покупать. Ну и так далее...

Грустная что-то глава получилась.

ГЛАВА 24

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ, ИЛИ — КОЛ МОКРАЛЬНО-САКРАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНЫЙ

Пакушев был глубоко уязвлен коварством горячо любимого Эдички. Он теперь его иначе и не называл, как только «Оборотень в погонах».

«Нехай клеветет», — отвечал президент, когда ему топтуны докладывали о злобных мыслях и высказываниях Пакушева за вечерним саке со своей забитой ещё в молодости супругой.

Теперь, после того как он вышел из-под надоевшего колпака Пакушева, президент заметно повеселел и стал задумываться о своих рюриковских корнях. Все Рюриковичи надеялись, что вспомнит он всё окончательно и потрянет олигархическую свору как следует.

А тогда и жизнь на Руси поправится.

С другой стороны и евразийцы не дремали — свои идеи ему подкидывали. Надо, говорили, все деньги у рюриковичей отобрать и в зарубежные банки вложить. Там-то они сохраннее будут. А тут, клеветали, всё равно разворуют.

Как будто в зарубежных банках не воруют? Так же точно воруют, как и в евразийских. Банки они для того и служат, чтобы их разворовывали.

Того они знать не желали, что деньги надо не в банках держать, а в развитие производства и в укрепление обороны вкладывать (не деньги ведь сакральны, а жизнь человеческая).

А без обороны Рюриковичам никак нельзя — любая муха наглеть начнёт и своё требовать.

Совсем со свету сживут.

Обороной президент заинтересовался, все же резидентом когда-то был. А вот до жизни простых Рюриковичей

всё у него руки не доходили. Так, разве что в храме Божьем поговорит с народом, а чтобы за чашей Грааля посидеть в деревне с тем же Борисом или с Каликиным, до этого не поднимался.

Евразийцы не допускали.

А Пакушев сидел в доме–дворце на Рублёвском шоссе и думал о том, как несправедливо устроена жизнь человеческая.

Только что он в двух шагах от третьего этапа великого евразийского плана был, и вот всё рухнуло. Удалили его от властной вертикали. На кол, правда, не посадили — не те времена, но и покомандовать не дают. А он без этого и не Пакушев как бы. А как бы Пакушевым он быть не хотел. Он просто хотел быть тем Пакушевым, который своего человека в президенты вывести может. Великим Магистром, одним словом (или — двумя). Магом то есть. Гарри Поттером — только взрослым.

Но не добрым, а злым.

И обидно ему было за идею свою.

Ведь такая прекрасная евразийская идея. Это вам не великорусская какая-нибудь, или великопольская, например. Там ведь всё строится на сохранении своего народа.

А это неправильно.

Свой народ беречь вовсе не обязательно. Главное беречь пространство, которое завоевал, и того, кто главным над этим пространством поставлен. Также надо думать о постоянном приращивании этого пространства.

Как, например, Ленин, Сталин и Троцкий думали о мировой перманентной революции, или как, например, Гитлер мечтал Третий рейх обустроить. А народ для этой цели можно любой привлечь, вовсе не обязательно свой, с которым к власти пришел.

Вон в Красной армии у Троцкого кто только не служил — и китайцы, и евреи, и латыши, и венгры, и чехи, и немцы, и литовцы с эстонцами. Даже французы имелись.

Хотя французы те, говорят, на самом деле тоже евреями были. Просто маскировались из-за кровавого романовского режима.

Хотя почему его кровавым называли, Пакушев иногда понять не мог.

Ленин и Троцкий, не говоря уже о Сталине, кровушки-то в тысячи раз больше пролили, а никто их кровавыми не называет. Наоборот, очень даже до сих пор во всем мире уважают. Самое, говорят, образованное правительство — это было большевистское, во главе с экстерном Ульяновым-Лениным.

Вот что значит пыль-то к глаза пустить и на кол кого надо посадить. Или — на штык красноармейский.

«А всё же недорезали тогда беляков этих и прочую интеллигентскую сволочь», — с глубоким сожалением вздохнул он, размышляя об итогах ВОСР (что означает Великая Октябрьская социалистическая революция). А самое главное — писателей белогвардейских не всех поубивали. А кое-кто и обвёл великоевразийскую партию большевиков вокруг пальца, как Серафимович этот хитромудрый. Пролетарским писателем прикинулся, а сам-то — чистокровный казак.

Антисемит — значит.

Пакушев и сам иногда был антисемитом, но все же не до конца, поскольку супруга его как раз и была семитского происхождения. Жена она была неплохая, тихая и покорная, но вот долго детей не рожала. И поэтому он иногда её тихо ненавидел, а по молодости даже и бил.

Поскольку детей у него долго не было, он Эдичку-то и пригрел. В планы свои до конца, конечно, не посвящал, но просвещал потихоньку. О преимуществах великой Евразии над рюриковско-романовской Россией рассказывал.

А Эдичка слушал и запоминал.

Особенно ему идея про вертикаль власти понравилась.

«Значит я кого хочу, того и на кол могу посадить», — с интересом таким глубоким спросит и на Пакушева посмотрит.

У того от этого взгляда аж холодок по спине иногда пробежал.

Он ведь не знал, что у Эдички на уме.

Чужая душа — потёмки.

Пакушев поэтому юлить начинал.

«Ну, — говорил, — посадить можно, и фигурально выражаясь. А Эдуард не хотел фигурально выражаться, он конкретное все любил».

Чего там юлить.

Сажать, так уж сажать.

А потом взял и Худаковского посадил.

Вообще-то за конкретное дело. И кол глубоко воткнул. Но с Пакушевым не посоветовался.

А это было неправильно.

Вот с той поры у них нестроения начались.

А тут и конкуренты скрытые вклинились.

«Посади, — говорят, — и Пакушева на кол».

Надоел он всем. Слишком много на себя берёт.

Так Пакушев оказался в опале и вынужден был жить всеми, кроме супруги верной да дочерей, оставленный в своем доме-дворце на Рублёвском шоссе, созерцая поставленный посреди двора кол, на котором мочало висело. В фигуральном смысле, конечно.

Кол он очень любил. В своё время даже хотел диссертацию написать о влиянии кола на улучшение государственного устройства, но потом практикой увлёкся и науку оставил.

Может быть, и зря.

А в диссертации много было подобрано слов, с колом связанных. Это и колесо, и околесица, и около, и колокол, и прикол, и укол, и заколка, и Колыма, и околоток, и сокол, и Оскол (город), и даже писатель — Сколов, с которым Пакушев был связан личной дружбой.

Тот ведь тоже был евразийцем.

Кстати говоря, через него и копия списка части рукописи Каликина в ФСБ поступила. Писатели ведь и всегда

на писателей доносили. Можно хоть и Булгарина вспомнить, как он на Пушкина стучал.

Да и кто ещё достоинство рукописи, талант-то писательский в первую очередь оценит, если не такой же писатель. Тот, у кого дар свой имеется, тот поздравит, а который бездарный — тот позавидует.

А Сколов как раз бездарным и был.

Очень он кол уважал.

И поэтому горячо любил Советскую власть. Потому что Советская власть с писателями долго не чикалась. Чуть что не так, на кол такого писателя и — поминай, как звали.

Или в дворники, или в ссылку, или, если повезёт, в эмиграцию.

И правильно. Тут и без них писатели найдутся.

У евразийцев, кстати, и собственная гордость имеется.

Вон главный бровастый евразиец времен застоя, какую эпопею написал в трёх книгах. Читали, небось?

Не хуже Шолохова, то есть Серафимовича.

Зря ему разве Ленинскую премию дали, главную евразийскую премию?

А вот еврею Бродскому не дали. И Солженицын, хоть и русский вроде бы, не заслужил. Потому что тоже под Рюриковича косил — свободы слова просил. Вроде Льва Толстого и прочих горлопанов, которые молчать не могут.

А ты молчи, когда тебя не спрашивают. Хан сам знает, что делать надо.

И хан знает, и пахан — тоже.

Сколько он этих паханов развёл и прикормил по всей рюриковщине и Евразии, Пакушев и сам со счёта сбился.

А теперь ни одна собака не появляется. Испугались и попрятались.

Правильно. Они сильной руки всегда боялись.

А что рука у Эдички сильная, он и не сомневался. В своё время сам его дзюдо обучал.

Ох, и побросал он его бедного по матам. А тот всё выдержал. И не жаловался. Бывало, летит сердешный прямо до потолка и даже не пикнет.

За то и полюбил его Пакушев и в теорию властной вертикали, кола то есть, потихоньку вводил.

Кол ведь не обязательно должен быть натуральным.

Это сейчас уже не модно (ну, разве что в ночных клубах, где он шестом называется, девицы голые вокруг него, как змеи, обвиваются и сесть на него нороят — нравится, видно).

А вообще-то виртуальный он ещё страшней. Укол, например.

Самый что ни на есть мокрально-сакрально-виртуальный и есть.

Для наркоманов он сакрально-виртуальный. А, например, для диссидентов каких-нибудь может и мокрально-сакрально-виртуальным стать. Ну, если доведут до такого.

Выведут из себя своими приколами.

Пожалел он тогда Каликина, когда он у профессора-евразийца на нервном отделении лежал. А профессор, как раз хотел на нём одно новое лекарство испытать. Для того и в отдельную палату положил. А тот думал — ради уважения.

Смешные они эти Рюриковичи.

А писатели-Рюриковичи — те вообще все шизофреники.

И он снова погрузился в созерцание стоящего во дворе кола с мочалом, с наслаждением думая о том, как он однажды замочит всех своих врагов...

Впереди у него ещё могло быть Ватерлоо.

Много ещё евразийцев, им прикормленных, готовы были в нужное время встать под его знамя. ...

Знамя Великой Евразии.

Кола сакрального.

Или — вертикали виртуально-всевластной.

А также и — башни Вавилонской, вокруг которой великая блудница политической власти как раз и обвивается.

Ну, прямо как девка голая, вокруг шеста в ночном клубе паханов убажжающая.

И ханов — тоже.

ГЛАВА 25 РУССКАЯ ПОБЕДА

За окном автобуса мелькали придорожные леса, медленно проплывали полевые просторы. Несколько речек, давно знакомых Каликину (он каждый год ездил этой дорогой в отпуск и по дачным надобностям), остались позади.

Вдали золотом горел закат, на его фоне лесá смотрелись так живописно, что Каликина остро тянуло к холсту и кисти, а ведь он дал себе зарок никогда не притрагиваться больше к палитре. Всё, хватит, Леонардо из него не вышел, Рафаэль — тоже. Стало быть, нечего и огород городить! Сиди себе в музее, храни его бесценные сокровища и, как говорится, не вякай.

И так дров наломал немало, не одну профессию перепробовал, всё искал чего-то, искал, а что искал?

И действительно, что искал он, Каликин, ходя и блуждая кругами этой непростой во всех отношениях жизни? Давно уж ничего он не искал. Он давно уже понял, что жизнь всё равно продиктует своё, что жить надо не по плану, поскольку по плану всё равно ничего не получится. Сколько их, этих планов, было в России, да только все они в три дня 1991 года ушли безвозвратно.

И пришла новая эпоха.

Каликин встретил её с радостным ожиданием перемен к лучшему — как и многие его друзья-приятели. И что осталось от его ожиданий теперь, через несколько лет капиталистического рая? Да ничего не осталось.

Как это бывает после всякой революции, опять поднимались не те и не так.

На смену одному дерьму пришло другое, а в общем-то это было одно и то же — наглое, беспринципное ворьё. Почему-то в России умеет хорошо жить только ворьё —

вот ведь какая удивительная закономерность. Именно жульё и ворьё легче всего пристраивается в этой жизни, именно оно всегда на плаву, выживает при всех режимах.

Да и не только ворьё, ещё неплохо устраиваются те, кто вообще не любит рефлексировать, кто живёт по принципу: после нас — хоть потоп. Они тоже ходят в победителях, они тоже всегда выплывают. А такие, как Каликин, они почему-то чужие на этом празднике жизни. Они всем в тягость, они часто говорят не то, потому что говорят то, что думают.

Думают... Только он и думать-то не думал давно уже — что там думать, когда всё придумано дядями и тётями — умными и разумными до тошноты. И выходило так, что ничего ему в этой разумной жизни не светило. Перекрыли ему все дороги и всё, что оставалось — это разве что уехать в деревню или хоть за бугор...

Только бы не видеть этих рож, этих харь самодовольно сытых, этих оплывших жирком постсоветских буржуа, свысока разговаривающих с теми, кто ниже в табели о рангах и лебезящих перед сильными мира сего...

Интересно всё же, когда пришло это чувство неудовлетворённости, это осознание дискомфорта? Ведь ещё каких-нибудь десять лет назад он ощущал себя вполне «на коне» и даже впереди многих. Да и не только ощущал, но был действительно впереди. А потом, словно что-то вдруг надломилось внутри, словно сломалась какая-то невидимая пружина, которая раньше толкала и вывозила из различных передрыг, позволяла выплывать из, казалось бы, гибельных водоворотов. Теперь же ему ничего другого не оставалось, как лишь наблюдать за жизненными успехами других — тех, кто ничем не выделялся когда-то, но постепенно набирал «вес».

Да, они не были такими же одарёнными от природы, но каждый из них целеустремлённо делал своё дельце. В то время, как он занимался творчеством для души, его вчерашние друзья-приятели лепили карьеру. И пусть

картины их получались корявыми, не всегда по-настоящему художественными, но всё же, всё же, всё же...

Всё же он должен был признать, что временно его обошли.

Только странное дело, Каликин не завидовал им, обошедшим его в гонке за жизненным успехом. Дело было в том, что его давно уже перестал интересовать этот *жизненный* успех. Кризис, который он переживал, был глубже творческого, это был кризис мировоззренческого характера. Вопросом, проверяющим всё в его жизни в последнее время, стал один вопрос: зачем это мне?

И оказалось, что ничего из того, ради чего так старались прежние друзья-приятели, с некоторых пор его не интересовало. Пожалуй, в этом был элемент обломовщины, вообще свойственной русским натурам, но Каликин жил в XX веке — веке таких скоростей, когда трудно отсидеться на печке, когда русских обломовых сама история переделала в штольцев. Словом, даже находясь в духовном кризисе (а он переживал именно духовный, а не душевный кризис) Каликин должен был ходить на службу, должен был изучать и реставрировать те вечные ценности, которые заполняли запасники музея.

Сказать, что эта работа его вполне удовлетворяла, он не мог. Его вообще ничто до конца не удовлетворяло в последнее время. Он с трудом дождался долгожданного отпуска, чтобы подышать чистым воздухом, вырвавшись наконец из каменных стен Петербурга, к пряному запаху полевых трав и вольного ветра. И вот автобус летел навстречу необозримому деревенскому простору, оставляя позади все городские проблемы, все интриги, всю желчь, которая накопилась за год.

Автобус летел навстречу детству.

Детству, о котором Каликин всегда вспоминал с какой-то непередаваемой ностальгией. Жаль, что оно так быстро пролетело — его золотое детство. Теперь сквозь туман наскоившихся лет он с каким-то отчуждением, с неким

удивлением даже вспоминал подробности послевоенного детства, где была бабушка, истоиво молившаяся перед иконой Георгия о погибших на войне сыновьях и об оставшихся в живых детях, где родители были ещё совсем молодыми, где деревья были очень высокими, зимы — морозными, лето — жарким, а чувства — самыми искренними и острыми. Что бы он делал без своего чудесного детства, проведённого в северной деревушке — на родине отца, на его, Каликина, родине? Как бы он вышел из всех своих жизненных передряг целым и невредимым, как бы вообще остался цел в этом открытом всем ветрам мире, где никто не встречал его, Каликина, с распростёртыми объятьями, где наоборот, всё поворачивалось не так, как грезилось в юности и ранней молодости.

В детстве и ранней юности Каликин мечтал стать летчиком. Но в десятом классе пришла новая страсть — Каликин заболел поэзией. Собственно, писать стихи он начал раньше — ещё в шестом классе, на Крайнем Севере, куда переехали родители, спасаясь от очередной «хрущевской» коллективизации. Произошло это, скорее всего, под впечатлением от расставания с родной деревней, а может быть, под впечатлением северных пейзажей, где зимы были романтично-темными, а летом солнце не скрывалось за чертой горизонта. Да, впрочем, какая разница, по какой причине стал он писать стихи... Наверно, так было на роду написано. Вначале это было лёгким увлечением, но к окончанию школы Каликин уже понял, что без поэзии ему как будто чего-то не хватает.

Попытался поступить в Литературный... Ничего не получилось — к счастью, как давно уже понял Каликин. Ну, что бы дал ему этот институт — какой жизненный опыт? Нет, всё, что ни делается, делается к лучшему — в несомненности этого постулата Каликин давно уже не сомневался. Не поступил в Литературный, зато поступил на работу слесарем передвижной механизированной колонны и узнал жизнь рабочего коллектива изнутри...

А потом... Потом была жизнь, которая била и ломала, пытаясь совсем сломать, превратить Каликина в податливую скотинку, которую удобно загонять в предназначенное стойло. А он не хотел идти в это стойло, он упорно боролся за свою свободу.

А может, не стоило? Может, зря он бился каждый день за что-то своё, призрачное, с неким невидимым, а подчас и видимым врагом... Бился, наживая себе славу неуживчивого, непокладистого, ершистого, — словом, неудобного для начальства, а значит и для профсоюза сотрудника.

Да ну их всех, мысленно чертыхнулся он и стал собирать вещи, готовиться к выходу. Вещей было много, нагружился он основательно — ведь впереди месячный отпуск, а Росинант опять был в ремонте.

Автобус плавно подкатил к остановке, пассажиры заторопились к выходу.

Каликин вышел, не торопясь, глубоко вдохнул знакомый с раннего детства воздух. Слегка закружилась голова. От автобусной остановки до дачи Каликина надо было добираться два километра пешком.

Родина...

Это была его малая родина. Здесь он в детстве бегал с друзьями босиком на речку и в лес за ягодами и по грибы. Здесь похоронены его предки — многие поколения прадедов, хозяйствовавших на этой земле, а затем ушедших в эту же землю. Что осталось от них? Только имена — обычные русские имена: Фрол да Иван, Илья да Федор, да Макар, да Петр, да ещё сколько их затерялось во мгле времен. Разве все их упомнишь... Да и нужно ли? Нужно, наверное, но только до какой-то разумной степени, не превращая семейную генеалогию в некую панацею или, ещё того хуже, в предмет, возвращающий человеческую гордыню.

Хорошо об этом сказано Пушкиным:

Два чувства с детства дивны нам...
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Любовь, не гордость и тем более не гордыня...

Каликин взял свои сумки, поставил их на складную тележку, предусмотрительно приобретённую накануне «катастройки», и отправился в сторону дома, с жадным любопытством примечая изменения, произошедшие в округе во время его почти годового отсутствия.

Вокруг мало что изменилось.

Так же бежала река, зажатая между высоких берегов, поросших сосняком и смешанным лесом. Кое-где красиво темнели ели. Пейзаж в этих краях вообще был замечательный — потому, должно быть, и стал он, в конце концов, искусствоведом-художником (пусть пока и непризнанным на родине), что с детства проникся этой особой красотой северной русской природы, которая в таком изобилии была подарена Богом всем здесь живущим. Жаль только, что мало кто по-настоящему ценил эти красоты — беспощадно рубили лес леспромхозы и лесхозы, артели и кооперативы, просто лихие люди, без всяких документов приезжающие на лесовозах в отдалённые делянки и рубящие для дачно-начальственного строительства и зарубежных поставок всё, что в голову взбредёт. «Велика Россия, всего в ней много — вот и обнищала незаметно», — с горечью размышлял Каликин, ещё помнивший густые, дремучие леса детства, вырубленные на корню за последние тридцать лет.

Так и во всем — от этого дурного изобилия испортился народ, одурел, спился — вот и получили то, о чём умные люди да вещие старухи давно говорили: пропьют мужики Россию. Да и как не пропить, ведь всё равно не своё — чужое.

Пропить, конечно, помогли — это ясно, но у самих-то головы на плечах были, не совсем же уж все дебилы.

Ведь много же и талантливых русских людей видел он, Калинин, на своём веку.

Сколько их живёт в его памяти — даже больше, чем всякой нечисти, вошедшей вдруг в силу и привычно, почти похозяйски, заправлявшей и тут и там — с каким-то тупым упоением властью, данной им непонятно кем и за что...

А вообще-то вполне понятно и кем, и за что... За грехи общенародные, нераскаянные грехи.

Хорошо помнил он тех старушек — подруг его бабушки, которые остались вдовами после войны — были они такими тихими и аккуратными, или, если был большой религиозный праздник, светло-весёлыми, но никогда не буйными, какими пошли потом их наследники, испорченные советской властью. Эта старая Россия, вынесшая на своих плечах весь груз Второй мировой, отходила на его глазах — как раз в годы его детства-отрочества. Доламывал её Хрущ, боровшийся с религией и личными подсобными хозяйствами, помогали ему задорные комсомольцы-атеисты и учёные-академики, проектировавшие повороты рек на юг и тому подобную несусветную чепуху. А больше всего старалась пресса, обслуживающая режим с привычной услужливостью. Слово — не воробей, сколько вылетело дурных слов, и за каждым из них — сломанная человеческая судьба. Сколько их переломали писаки-шелкопёры, сколько нагородили лжи, сколько зла выплеснули в мир, незаметно подготовив надлом великого государства Российского, отстроенного великим народом.

Наломали дров, оплевали подвиг народный, да народ же и обвинили во всех бедах. И сошло им все с рук — пустобрехам проклятым. Продолжают плевать во всё и вся, брызжут ядовитой слюной, считая себя умнее других, поучая тех, кто сам их может многому научить.

И что тут сделаешь? Заткнуть уши, закрыть глаза, чтобы не видеть, чтобы не слышать этой повсюду разлитой лжи, от которой тошнило при коммунистах и от которой нет спасения при дермократах.

Потому и уезжал Каликин при любой возможности подальше из города, поближе к родной земле, где, конечно, тоже лжи стало больше, чем в детстве, но где её было меньше, чем в каменном мешке Петербурга — городе, который был ему очень дорог, за который он, как его дед и отец, мог пойти в смертельный бой, но от которого в последнее время начинал уставать — раздражала навязчивая реклама, озлобленность граждан, свинцовая тупость чиновников, цинизм молодых.

Мог пойти... Да нет, он уже был в этом бою, давно был в этом незримом, вечном бою, покой в котором уже и не снился. Он вообще давно уже не видел спокойных, розовых снов. Не верил в них, не доверял сонникам, не реагировал на чёрных кошек, перебежавших дороги.

Он верил только в Промысел Божий.

Экстрасенсы, алхимики, йоги... Всё это — только люди, которые берут на себя слишком много, но которые слишком мало что могут.

А Бог... Он мог всё. Он слишком много значил в его жизни, чтобы говорить о Нём за столом, покуривая сигарету и попивая пивко — вроде тех его приятелей-интеллигентов, которые воспринимали православие не как глубокую и цельную веру, определявшую всю жизнь, а как некую философскую доктрину.

К Богу обращался он в самые тяжёлые минуты его жизни, на Него уповал в часы тягостных раздумий о судьбе отечества, Его славил в светлые минуты жизни, которые тоже были, и которых было не так уж мало. В конце концов, жизнь сложилась совсем не плохо. Конечно, он не стал модным художником, как некоторые его бывшие друзья, не выбился в богатеи и в большие чиновники, да и вообще никуда не выбился, но всё же он жил честно, никого не угнетал и не обижал, а это уже много в этом мире, где человеку суждено быть только в трёх ипостасях: тирана, предателя или узника.

Да, он был узником своего времени, но душа его оставалась свободной, и если кому-то принадлежала без остатка, то этот кто-то был — Христос.

Его путь к православной вере был в общем-то прост. Разумеется, Каликину пришлось пройти не один круг в этой жизни прежде, чем он почувствовал безысходность жизни без Бога. Кем он только не был в этой жизни, куда только не забрасывала его судьба... — от солдатской казармы до дворца японского императора, от «психушки» эпохи брежневского застоя до застольной беседы с Сергеем Лифарем, от бурных лет молодости до теперь уже неминуемо надвигающейся старости.

И теперь был он мужчиной средних лет и вполне импозантно выглядел, но всякий зрелый мужчина одной ногой уже вступает в ту опасную зону пожилого возраста, за которой всё становится пресным, пропадает то очарование жизни, которое так пьянит в молодости.

Старость — не радость. С ней приходит усталость, раздражение, а иногда и озлобленность. Каликину не раз приходилось сталкиваться с озлобленными на всех и вся стариками. Неприятное зрелище. Больше всего не хотелось бы уподобиться таким разочаровавшимся в жизни джентльменам, которым ничем нельзя было помочь, поскольку они жили без веры, надежды и любви.

Каликин шёл в направлении деревни, в которой он родился и где прошли его детские годы, но в которой почти не осталось людей, которых он помнил и любил — они давно перешли в мир иной и какова их загробная судьба — тайна, покрытая мраком. Он поминал в своих ежедневных молитвах имена ушедших родных и некоторых из односельчан, уповая на милость Божью. В сущности, все ушедшие были людьми неплохими — никто из них не грабил и не убивал. Воровать, конечно, некоторым из них пришлось — иначе при колхозном строе было не прожить, но их воровство по сравнению с воровством нынешних власть

предержащих — детский лепет, о котором и говорить-то не стоило бы, но уж так устроена память людская, что заминает не только хорошее, но и плохое. Что было, то было — прости им, Господи, прегрешения их.

Не осуди их на муки вечные и за тот насаждаемый атеизм, которому некоторые из них поддались — не все оказались такими стойкими, как его покойная бабушка (по деревне «Петровна»), пронёсшую веру в Господа Иисуса Христа сквозь всё советское лихолетье и до конца жизни своей не употреблявшая слова «товарищи», но обращавшаяся к очереди в магазин со словами: «крещёные, кто последний?» Кое-кто из колхозниц даже посмеивались над ней за это, но только Петровна не обращала на них никакого внимания и не меняла формы обращения. Имея лишь начальное образование, она, тем не менее, ежедневно читала Евангелие и Псалтирь, знала наизусть все основные молитвы и внука своего, Ивана Каликина, наставляла в христианской вере, пока могла. Эти бабушкины наставления ему вспомнились и очень пригодились впоследствии, когда оказался он после советской атеистической школы и военного училища в «психушке», куда попал за отказ признать стоящими солдатского внимания литературные творения генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. Там только эти заученные в детстве молитвы и спасли его от неоправданного буйства и бессмысленного сопротивления.

Бог открывался ему через добрых людей, в молитве, в изучении законов мироустройства. Обладая с детства пытливым умом, Каликин не мог удовлетвориться картиной мира, насаждаемой советской атеистической наукой. Чем больше он размышлял об устройстве Вселенной, тем глубже проникался сознанием того, что у столь совершенной модели должен быть автор. Таким автором мог быть лишь Бог, в которого верила бабушка, её родители и родители её родителей, в которого верила православная Русь с момента крещения в X веке — до XX века включительно,

пока не объявились на ней властвующие безумцы, решившие опровергнуть то, на чём стояла веками земля Русская. Сбросила этих безумцев Россия с себя, в конце концов, но только приняли они новое обличье и снова накинудись на нее — с ещё большим озлоблением и с новыми ухищрениями толкая народ в пропасть.

Вспоминая ушедших, он на ходу читал про себя своё старое стихотворение:

Постепенно исчезают жители,
Зарастает сорняком земля...
Не узнать уже родной обители,
Не слышать здесь стало соловья.

Всё вороны, всё вороны каркают,
Да кричат сороки — там и тут...
Так к кому приехал я с подарками?
Не скажу — чужие не поймут.

Дорога шла в гору, Каликин бодро шагал, таща за собой походную тележку, мимо прошелестела легковушка и резко остановилась. Водитель открыл дверь, молча приглашая Каликина. Такая манера была у его дальнего родственника, жившего рядом с дачей Каликина. Его звали Федором, и он был ещё сравнительно молодым мужчиной, но в отличие от многих своих вдруг разбогатевших сверстников, бездумно пролетавших мимо на купленных родителями «Нивах» и «Тойётах», был человеком с головой на плечах и, по всей видимости, воспитывался в духе уважения к старшим. Верующим он не был, по крайней мере, Каликин не встречал его на воскресных службах в единственном сельском храме, куда сам Каликин старался ходить в соответствии с православным уставом каждое воскресенье и по всем двенадцатым праздникам, если они приходились на те дни, когда он был на родине.

Перестройка практически не изменила жизни Каликина. Внешне он ничего от неё не получил. Но всё же, кое-что

изменилось вокруг — по крайней мере, стали возрождать храмы. Вот и в родной деревне можно стало заняться возрождением разрушенной в 30-е годы часовни. Об этой часовне Каликин знал по рассказам бабушки и других уже ушедших старушек то, что была она очень старой и что в ней в своё время были цветные стекла (слова «витражи» старухи, конечно, не знали). Собранный Каликиным материал позволял предположительно считать, что это была часовня, построенная ещё в начале XVIII века — тогда же, когда и кладбищенская церковь в селе.

Народная память сохранила многие детали не хуже, чем письменное свидетельство. Всё же удивительное это дело — *память*. Не случайно стараются либерально-евразийские умники разрушить окончательно то, чем жива ещё Россия, и потихоньку выветривают из памяти русской то, что свято. Забывают молодые о войне, не знают истории русской, не помнят о том, кто и как разрушал, а кто строил святую Русь. Самую страшную работу, сравнимую разве что с фашистской пропагандой вело и ведёт тут телевидение. Начиналось всё ещё при коммунистах, а в годы перестройки расцвело пышным цветом. Каликин вообще считал телевидение опаснее, чем спид и рак — вместе взятые.

Это чудовище практически уничтожило народную культуру. Народ перестал петь, перестал заниматься надомным трудом, перестал, в конце концов, думать. Хуже всего, что бездумные монстры, заправлявшие этой империей информации, считали это даже достоинством — стало легче управлять массами. Слепые поводыри слепых вели страну к катастрофе, и она не преминула разразиться.

То состояние, в котором находилась современная Россия, Каликин определял как состояние национальной катастрофы. И выход из него был, конечно же, не там, куда в очередной раз указывали телевизионные зазывалы. Западные инвестиции, о которых с утра до вечера твердили с упорством, достойным лучшего применения, явно продажные шелкопёры и откровенные дураки — всё это было

не решение проблемы, а усугубление её. Любой разумный человек понимал, что Россия может подняться только за счёт использования внутреннего потенциала.

Этим внутренним потенциалом, совершенно неиспользованным, Каликин считал русскую православную культуру и русский народ. Русская идея — только не опошлённая и низведённая до уровня какого-то лавочно-шариковского варианта — была тем механизмом, в который верил Каликин. Именно он должен был вывести страну из прорыва. Суть идеи выражалась всего двумя словами: православная Россия. Русский — значит православный, других определений русского Каликин не принимал и не понимал. Именно православие отстроило Россию такой, какой она стала. Всё другое в ней было только во вред. Ни удельные князья, ни бунтари-революционеры, ни коммунисты, ни проворовавшиеся лже-демократы ничего не дали народу.

Православие дало всё. К нему и нужно вновь припасть в годину испытаний. К нему — а не к золотому тельцу, к которому призывали безумцы, зарабатывающие баснословные барыши на горе народном.

Беда состояла в том, что на настоящий момент интеллигенция этого не понимала, даже многие умные друзья Каликина попались на удочку беспардонной пропаганды и терпеливо ожидали помощи с запада, откуда веками в Россию приходила только война. Каликин вовсе не считал себя ненавистником всего западного, да и не был таким в действительности. Он лишь ясно осознавал всё различие русской и западной ментальности. Запад всегда был агрессивен, хотя всегда перебрасывал с больной головы на здоровую эту свою имманентно присущую особенность.

Американское киноискусство — квинтэссенция западной культуры — достаточно саморазоблачительно указывало на это. Боевики, порнография — вот то, что есть истинно западное. Разрушение крестоносцами Константинополя — тоже яркое свидетельство алчной природной сущности западной цивилизации. А Россия испокон веков

была страной мирной. Все войны были ей навязаны либо западом, либо (реже) востоком.

России всего хватало. Она могла бы жить только за счёт внутренних ресурсов, никто ей был не нужен — пространства России и технологии XX столетия были вполне достаточны для самобытного существования. Однако правящий слой совратился ещё в лице Петра I на западный образ жизни, а нынешние безумцы довершали дело революционеров — Романовых. Не случайно, что именно человек запада убил Пушкина — великого поэта земли русской. Последний русский царь Николай II к концу правления под влиянием Распутина стал понимать опасности западного влияния при русском Дворе и — поплатился за это жизнью. Русская революция — кто виноват в том, что случилось? Революционеры готовили её на западе. Но не только запад виноват.

Виноваты и многие Романовы, которые практически перестали быть русскими, забыли о нуждах народа, и случилось то, что случилось.

Конец ужасный, царя жаль, жаль царицу и детей, но чаша терпения Господня в связи с отменой патриаршества была переполнена... Кто-то помешал царю опереться на православную церковь, введя патриаршество ещё до мировой войны... Вот и не оказалось у него в нужный момент поддержки, а только «измена, трусость и обман».

А без царя разве может Россия подняться?

И до сих пор разве не хаос царит на Руси? Ощущение тоски подкатывало к горлу, в таких случаях Каликин творил про себя Иисусову молитву. Федор молча довез Каликина до калитки. Каликин поблагодарил его и вышел, не предложив Федору денег, тот всё равно бы не взял.

Местные старорюриковичи ещё не до конца были испорчены рынком.

Жизнь, которую Каликин вёл, трудно было бы уложить в какую-либо схему. В городе он был вполне городским человеком, в деревне — оказывался в родной стихии

национальной культуры. Здесь он отдыхал душой, припадал к своим корням, здесь чувствовал Россию намного острее и яснее, чем в городе. Но он вовсе не идеализировал нынешнюю деревню. Та русская деревня, которую он знал, отошла в вечные селения. Вокруг давно уже была другая — советская и постсоветская действительность.

В сущности, нынешняя деревня была лишь слабым напоминанием того, что было уничтожено катком советской власти. Не осталось почти никого, кто бы, как его бабушка, жил в мире православия, кто помнил о среде и пятнице — постных днях недели, строго соблюдал бы все посты, кто был бы действительно православным человеком. Ту небольшую группу неофитов, которая образовалась при сельском храме, ещё трудно было считать вполне воцерковлёнными людьми — слишком они были слабыми и неустоявшимися в вере. Не исключено, что кое-кто из них при первом порыве ветра оторвётся от дерева и улетит прочь...

Безумие мира сего — с ним он давно уже находился в незримой битве. И давно бы сломил его мир, если бы не та реальная помощь Христова, которую он постоянно испытывал. Эта сила спасала его в самых разных жизненных ситуациях, к ней прибегал он в горестях и болезнях, на неё уповал при нападении врагов. Под врагами — Каликин давно уже разумел не людей той или иной национальности, а то скопище невидимых духов злобы, которые переполняли мир, проникая в душу всякого и склоняя её на недобрые дела. Подступали эти духи и к душе Каликина, и если бы не Иисусова молитва, давно бы волны отчаяния утащили его на самое дно греховного океана.

Конечно, Каликин не был исихастом в строгом смысле этого слова. Однако он был тем молитвенным практиком, который испытал на собственном опыте силу Иисусовой молитвы. И она ему помогла. Кому-то, вероятно, помогли другие молитвы, а ему — именно эта. С ней он засыпал, с ней просыпался, с нею отправлялся в дальние путешествия. Эта молитва была его посохом, который он получил

в детстве от давно покойной бабушки. С этой молитвой бабушка прожила тяжёлую жизнь. Воспитала после смерти мужа шестерых детей. Вынесла потерю трёх сыновей на войне, пережила голод и холод, колхозную обдираловку, вынесла всё, что только может вынести простая русская женщина в лихую пору тоталитарного беспредела.

Каликину же досталась другая пора. Вызов, который был брошен его поколению, оказался даже в чём-то опаснее, чем тот, который пришлось пережить предкам. Враги теперь не действовали открыто. Они проникали в душу с помощью различных хитроумных приспособлений и искушений, которых раньше не было. Газеты, радио и телевидение — вся система огромного коммунистического государства была направлена на то, чтобы оглушить, запутать, увести с истинного пути русского человека. Оставалось только удивляться тому, что православный дух выжил в условиях этого ничем не ограниченного давления.

Осознав это, враг рода человеческого и враги православия решили накинуть на Россию сеть перестройки. Под видом борьбы с коммунизмом, который на самом деле был духовно побеждён уже в годы Великой Отечественной войны, а после оставалось лишь конституционно отменить партийную монополию, враги России в очередной раз попытались сломить русский дух. Вызов времени был страшен. Исконные части православной Руси оказались отделены и, по сути, погибали под гнётом чужeverия. Голод грозил прийти на Малоросию и Новороссию. Пещерные инстинкты диких народов выплеснулись наружу, и уже много невинных жертв было принесено русским народом, а точнее тем, что от него осталось после истребительных войн и атеистического правления коммунистов-демократов.

И вот с этой малой частью великого народа необходимо было восставать из пепла. Конечно, России было не привыкать это делать. Не было в её истории спокойного времени. Татарское иго, смутное время, Петр I, Наполеон, XX век — со всеми его катаклизмами — всё это говорит

само за себя. И всё это вынес русский народ. Вынесет и нынешних либерало-евразийцев, обворовывающих и грабящих, но забывающих о том, что час расплаты придёт. А в том, что час этот придёт, Каликин не сомневался.

Бог долго терпит, но и сильно бьёт. За каждую слезу невинную ответят самодовольные хрюки, устроившие себе из русской истории шоу. Память народную не убьёшь. Не замолчишь правду, которая сверкала из всех щелей потемкинских перестроечных сооружений, взывала к справедливости глазами брошенных русскими домов в Чечне, Казахстане, Средней Азии. За всё ответят. Ответят, если не перед людьми, то перед Богом. И ответ этот будет не чисто символическим, как ответ какого-нибудь Шубайса перед президентом, а вполне реальным.

Вопрос был только в том, когда наступит этот час расплаты. А впрочем, какая разница. Ясно, что наступит, должен наступить, ибо его требует уже и сама земля: взрываются шахты, падают самолёты, как никогда раньше не взрывались и не падали. И всё это — лишь грозные предзнаменования того страшного, что ещё будет. Оно уже сверкает грозно впереди. Уже трубят ангелы, напоминая о нём. Никто не уйдёт от этого суда. И самый хитрый и ловкий, и самый сильный и изворотливый, и самый грозный, и самый трусливый — все предстанут в роли ответчиков. И не дай Бог иметь на совести пятен. Не дай Бог...

Жалок тот, в ком совесть не чиста. Эту пушкинскую фразу он вспоминал время от времени, с удивлением наблюдая за течением жизни и с некоторых пор совершенно бесстрастно отмечая те перемены, которые не всегда были к лучшему, но всегда были промыслительны. Сама жизнь его претерпела такие перемены, от которых другой сошел бы с ума или, по крайней мере, запил. Каликина спасло православное воспитание. Не будь веры в конечную справедливость, лежать бы ему под забором, как герою блоковского

стихотворения, или блуждать в пьяном виде где-нибудь по Москве, направляясь в Петушки...

А он избежал этой трясины. Он выплыл из того шторма, который носил его по волнам жизни. У него была семья, был дом, была цель жизни. Конечно, всё это было на фоне полуразрушенной страны, на фоне национальной катастрофы, которую принесла с собой банда очередных экспериментаторов. Но всё же надежда не умирала. Калинин верил в то, что выберется Россия из ямы, в которую её столкнули. Встанет она ещё в полный рост, расправит плечи и ещё удивится мир красоте русской. Поразитесь он ещё силе её, вере её и любви её...

Навстречу Каликину бежали дети, их у него было семеро. Летом они жили в деревне, приобщались к народному быту, набирались сил перед очередным учебным годом. А Калинин с женой по очереди приезжали сюда в отпуск, чтобы не столько отдохнуть, сколько поработать: жена по хозяйству, а Калинин на сенокосе у дальней родственницы, которая, несмотря на все сложности, держала корову и снабжала дачников молоком. Не будь их, этих упорных хозяев, выдержавших испытания совхозной и особенно постсовхозной жизни, что было бы с Россией? Да и была ли бы Россия — если бы не упрямство деревенских жителей, этих истинных рюриковичей, вынесших коллективизацию, генеральные предназначения, фермеризацию и тому подобные эксперименты на селе. Давно бы голод очистил родные просторы, давно враг прошелся бы тамерланом по русским городам и весям, как проходит по ним нынче танк катастрофы, расчищая место для наступающего зла глобализации.

Обнимая и целуя детей, Калинин испытывал чувство тихой радости возвращения домой после дальнего путешествия. Всё же его истинный дом был здесь — среди этих лесов, в глухой деревушке. Здесь был его Вифлием, а город — был тот Иерусалим, в котором ещё придётся ему держать ответ перед толпой обманутых сограждан.

Но он был к этому готов. Он знал, что спокойно встретит все незаслуженные оскорбления и даже смерть, ибо Господь был с ним.

И пока Бог был с ним, пока откликался Он на его молитвы, не страшна ему была вся злоба этого мира.

Над крышей дома застыло громадное облако, солнечный луч падал с небесной высоты на покрытую рубероидом крышу, сверкал, переливался в стёклах небольших окон. Старый, слегка покосившийся дом, казалось, с надеждой смотрел на Каликина и словно что-то хотел сказать ему. И Каликин должен был понять это послание древней, ушедшей уже в вечные дали России.

Понять и передать детям своим, чтобы никакие сонмы врагов не смогли столкнуть их с пути, который был дарован свыше, которым шли поколения предков, которым следовал в своей жизни сам Каликин, и который ещё предстоял каждому из его детей, стайкой окруживших Каликина и наперебой рассказывающих ему о последних деревенских новостях.

Их детский лепет внушал надежду, укреплял его, помогал в невидимой брани с князем мира сего.

С ними Каликин был непобедим, ибо не оставит Христос детей своих.

* * *

Он крыл крышу принадлежащего ему деревенского дома рубероидом, ставшего давно дачей. Надо заметить — занятие это требует определённой сноровки и некоторого умения. Определённый опыт у него был — десять лет тому назад он уже занимался этим делом, правда, тогда не в одиночку, а с его неизменным помощником покойным теперь Санчо — деревенским другом Виталием.

Виталий был толковым мастером, он много лет проработал плотником в совхозе и вообще имел золотые руки. Сейчас, нарезаая листы рубероида и готовя необходимого размера горбыли, а также доски для сооружения конька,

он невольно вспоминал ушедшие годы и совместную с Виталием работу. Конечно, давно бы пора было купить шифер и отказаться от морально устаревшего рубероида, но всякий раз, когда хотелось купить ценный шифер, наступал очередной финансовый кризис в семейном бюджете научного работника, и приходилось расставаться с наполеоновскими планами.

Августовское солнце припекало, и на крыше было жарко. Крыть крышу в одиночку вообще несподручно: надо не раз слезть и подняться по лестнице, чтобы правильно уложить лист рубероида с той и другой стороны двускатной крыши. Хорошо ещё, что с погодой повезло — не было ветра, который задирает бы листы и стремился смахнуть вновь уложенный, но ещё не прибитый кусок рубероида с крыши.

За его трудоёмким занятием с любопытством наблюдал совсем ещё маленький внук соседки-дачницы, который подружился с сыном Каликина и часто появлялся во дворе каликинского дома. Ему было около четырёх лет. Сразу было видно, что мальчик он городской и довольно смыслённый. Городская среда никак ещё не испортила его, а младенческий возраст давал себя знать — в глазах его была глубина деревенского неба, которое шатром раскинулось над крышей и над всем окрестным окоёмом. Что уж там происходило в его светлой головке — то одному Господу ведомо, но малыш вдруг изрёк фразу, которая до глубины души Каликина умилила.

— А я ангел, — доверительно сообщил он ему, наблюдая, как тот то спускается, то поднимается по лесенке на крышу. Заметив, что Каликин с каким-то удивлением на него смотрит, он решил разъяснить своё важное заявление. — Все люди умирают, а мы с Данилой не умрём, а улетим на небо.

Даниил был старшим братом Капитона (таким теперь редким именем называли малыша). Сейчас Данила где-то бегал с младшим Каликиным по деревне, оставив своего брата без присмотра. Нужно было что-то ответить на такое

важное заявление ребенка. Он не сразу нашёлся, что сказать. Единственное, что пришло в голову, спросить: а где же твои крылья? На это Капитон без тени сомнения ответил: их сейчас просто не видно.

«А ведь малыш прав, — подумалось Каликину. — Все дети до семи лет — ангелы. Это потом с ними что-то происходит, начинается так называемый “переходный” возраст, который у многих продолжается всю оставшуюся жизнь. И некоторые незаметно переходят совсем в другой чин, превращаясь в падших ангелов. Вот только почему так происходит — поймешь не сразу».

Хорошо, Капитон, что ты — ангел, оставайся им подольше. Ведь если бы все люди оставались ангелами, тогда и жизнь на земле была бы — как на небе. И не было бы тогда ни войн, ни кровавых революций, ни всего того, отчего так много в этом мире человеческих страданий и нестроений.

ЭПИЛОГ

Как ни жаль, но пришла пора расстаться с терпеливым читателем. А то у автора этих строк, как и у Каликина, тоже семья имеется. И тоже, между прочим, — большая. А дети все — воспитания требуют.

Они ведь как трава не растут.

Но автор понимает также, что читателю интересно знать, чем же всё закончилось. Как сложились судьбы главных героев и всё такое.

Пожалуйста.

Роман века к радости ФСБ, ЦРУ и всех бездарных авторов детективного чтива так и не был опубликован.

Написан-то он Каликиным был, но похоронен в подвале дома до лучших времен, ибо отец Василий не благословил пока печатать. Пусть полежит ещё, не время пока.

Не рассвело.

Переславину не удалось получить душковскую премию.

Интриги Гладышева помешали. Тот всё же понял, кого имел в виду Переславин, изображая циника-режиссёра. Но поощрительный приз ему вручили. Один реальный режиссёр помог. А, может, и Никита Михалков. Тот иногда талантам помогает, чтобы оригинальным казаться.

И на том спасибо.

А остальные, выделенные Душковым деньги, Гладышев себе забрал — якобы для нужд писательской организации.

Писатели Твердило и Беленький продолжают писать.

Дом писателей писателям не вернули. И вроде бы возвращать не собираются.

А зачем писателям дома? Дома реальным евразийским джигитам требуются. Не век же свой на Кипре отсиживаться, да на Канарах париться. На нарах тоже, конечно, приходилось. Но это было давно. До перестройки ещё.

Михаил Горбачёв и другие бывшие номенклатурные работники, а также их ближайшие родственники, получают не те пенсии, которые получают все остальные. И поэтому жизнью своей вполне довольны.

Трудолюбивый православный классик Корняев вначале на Каликина почему-то обиделся, а потом, подумав немного, простил.

Да и на что обижаться, если роман не опубликован?

Теперь он пишет очередную эпопею о происках воинствующих хитромудрых русофобов и вызывает Каликина на честное соревнование, не социалистическое, разумеется, а чисто профессиональное.

Скандинавовед и большой начальник Лугин продолжает научно погружаться в сакрально-инфермальную глупину русского мата.

В этом его кое-кто из людей с учёными званиями и без оных поддерживает.

Все прочие герои тоже ни в чём не отступили от своих жизненных принципов.

Пожарский–Таланкин, немного подлечившись, продолжает бороться за истину.

Литературные академики и прочие члены-корреспонденты ничего о ней знать не хотят. Им и так хорошо.

Зарплата идёт, открывать ничего не надо, а тем более дискуссии ненужные разводить.

Аспирант Наливайкин собирается защищать кандидатскую диссертацию на тему «Шолохов и Гомер».

Это очень интересно, но назвать надо было бы — «Гомер и Серафимович», поскольку Шолохов Гомера не читал, а Серафимович в силу старо-университетского образования — даже в подлиннике.

Президент Пугин размышляет о выгоде евразийской идеи и иногда навещает родную рюриковщину, то есть село Спасское сиречь Санкт-Петербург, где у него происходят встречи с встревоженной общественностью, которая вежливо просит центр города и его сакральное пространство

(как то Сенат, Синод, здание Главного штаба и т. п.) всё же генеральной перестройкою не разрушать, а предоставить дерзновенным экспериментаторам–архитекторам и их консультантам возможность проявить свой талант у себя на родине.

Буйного Каликина на такие встречи после его описанной ранее выходки не приглашают

Дульсинея Новая продолжает преподавать за виртуальную зарплату доцента в университете (СПбГУ), а Каликин получать веселый оклад музейного работника, который всё же не даёт пока умереть с голода.

Дети их незаметно подрастают.

Интересуются всем на свете. В том числе и литературой, а также классической музыкой, роком, рэпом, живописью, рыбалкой, русским и иностранными языками, мальчиками и девочками.

Политикой пока не заинтересованы.

Олигархи естественно продолжают богатеть, расшищать общенародное достояние (то есть нефть, газ, никель, каменный уголь, лес, и пр.), а пенсионеры превращаться в бомжей и понемногу вымирать.

Геннадий Жиганов и писатель Лимонов по ряду сообщений СМИ готовят вооружённое восстание, но поскольку в этом нету истинной христианской любви, то рюриковичи их не поддерживают.

А без рюриковичей какое же восстание? Без рюриковичей и самого Пугина бы не было.

А был бы один сплошной Пакушев.

Или — кол сакральный.

А так всё же — кока-кола и пепси-кола.

Недалеко от кола, но — другое.

Дэн Браун пока что законсервирован — до очередного выхода на связь Пакушева.

А Пакушев ждёт своего часа.

Может быть, и дождётся.

Это ведь была только первая часть эпопеи о жизни писателя, поэта и искусствоведа, а также, по совместительству, литературоведа, шолоховеда, пушкиноведа и домовладельца-фермера, а также художника — одним словом благородного старорюриковича — Ивана Михайловича Каликина.

И этой части пришел —

КОНЕЦ.

Конец и Богу — слава!

А также и великой, многострадальной Рюриковщине — земной поклон...

...Поскольку отечественная поэзия под давлением дрыговых и куберманов совсем что-то захирела, закончить хочется стихотворением из захороненной до лучших времён рукописи:

* * *

Кроме звонкой халтуры,
Колокольнее бед,
Существует культура —
Больше тысячи лет.

Не задуть её свет,
И другой такой нет...
Вот и весь тут ответ,
И — любовь,
И — совет.

...

Ну, вот, вроде бы и всё.

Тем более, Росинант ждет. Время в дорогу отправляться.

Санкт-Петербург–Вязикиничи–Санкт-Петербург.

1984–2005

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Книги стихотворений:

- Свете Тихий. СПб., 1993.
Небесный всадник. СПб., 1996.
Чаша. СПб., 1999.
Святая земля. СПб., 2001.
Победный крест. СПб., 2006.
Четверостишия. СПб., 2011.
Божий дар. СПб., 2012.

Книги прозы:

- Ravogtas romanas. Kaunas, 2006.
К Макарью (сборник рассказов). СПб., 2010.
Крестный ход (сборник рассказов). СПб., 2014.

Научные издания:

- Леонардо да Винчи или богословие в красках. СПб., 2000.
О скрытых сюжетах и смыслах в европейском изобразительном искусстве. СПб., 2011.

Адрес:
anikin.mikhail@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Глава 1. Психушка	5
Глава 2. Слухи и расследование	24
Глава 3. Литургия	43
Глава 4. Пакушев и Дэн Браун.	55
Глава 2. Донна Нуда	66
Глава 5. Общие усилия	72
Глава 6. Дэн Браун и его тайна	85
Глава 7. Бесплодные попытки	88
Глава 8. Михаил Пожарский и «Тихий дон»	93
Глава 9. Дульсинея Петербургская.	105
Глава 10. Переславин и роман века	111
Глава 11. Каликин и росинант.	120
Глава 12. Юбилей Шолохова	131
Глава 13. Операция «Плагиатор»	136
Глава 14. Тучи сгущаются.	140
Глава 15. Заседание Совета безопасности	143
Глава 16. Детство Каликина	146
Глава 17. Корняев и литература	151
Глава 18. Великий евразиец Пакушев	167
Глава 19. Проект «Великая Евразия».	169
Глава 20. Вечерело	174
Глава 21. Оборотень в погонах	177
Глава 22. Санчо Пансо (а вернее Пансы)	180
Глава 23. Рукопись	187
Глава 24. Вертикаль власти, или — кол мокрально- сакрально-виртуальный	191
Глава 25. Русская победа.	197
Эпилог	218
Основные публикации автора	222

Михаил АНИКИН

«РУССКИЙ РОМАНЪ»

**(или повесть о новом Дон Кихоте,
утраченной и вновь обретённой рукописи
«Тихого Дона», Леонардо да Винчи,
коварстве Дэна Брауна, «рюриковичах»
и «евразийцах» и многом, многом другом)**

Корректор: *М. В. Бухаркина*
Тех. редактор и компьютерная верстка: *Е. Е. Кузьмина*
Художник обложки: *Я. Левченко*

Подписано в печать 00.00.2015. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 14,0
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Типографии «Инфо Ол».
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1